

83,3P  
E 70

Проф. И. П. ЕРЕМИН

**„ПОВЕСТЬ  
ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ“**



Издательство  
Ленинградского Государственного  
ордена Ленина университета  
Ленинград  
1947

✓  
Проф. И. П. ЕРЕМИН

E-70

Читальный зал

# „ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ“

ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Ленинский отд. Народного  
образования  
БИБЛИОТЕКА  
№ 2634

✓  
97

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ОРДЕНА ЛЕНИНА УНИВЕРСИТЕТА  
ЛЕНИНГРАД  
1946

---

## ОТ АВТОРА

Настоящая работа—опыт исследования дошедшего до нас текста древнейшей русской летописи („Повесть временных лет“). Задача исследования—охарактеризовать политические убеждения летописца, его типично средневековую „философию истории“ и, наконец, обусловленные всем складом его мировоззрения особенности его художественного метода. Чтобы избежать ненужной модернизации, автор в ряде случаев предоставляет слово самому летописцу, прибегая, где нужно, к цитатам и по возможности точным пересказам летописного текста. Затронутые в работе вопросы—сложны и пока еще мало изучены. Настоящее исследование—не окончательное разрешение проблемы, а только ее постановка.

---

„Повесть временных лет“ как произведение литературное в ряде случаев резко отклоняется от того, что в нашем сознании уже давно успело отложиться как некая „норма“, — уводит нас в мир какого-то особого своего художественного измерения, — мир, в котором многое для нас, людей XX века, загадочно, „странно“, непонятно.

Непонятна настойчивость, с какой летописец упорно пытается уложить свой повествовательный материал в рамки непременно погодного изложения (даже рассказ о далеком прошлом — в форме „дневника“!); непонятно равнодушие, с каким он смотрит на то, как в результате такого способа изложения — из всех возможных самого, казалось бы, неудобного и для него самого и для читателя — постоянно рвутся у него сюжеты, перебивают, вытесняют один другого; непонятна специфическая фрагментарность летописного повествования, нарушающая все привычные нам нормы прагматического изложения историков нового времени, — фрагментарность, в результате которой резко ослабевает связь между отдельными частями повествования и каждая часть стремится отмеже-

вываться от соседней и наглухо замкнуться в себе самой; непонятна странная невосприимчивость летописца к противоречиям его же собственного изложения: он нередко позволяет себе отрицать то, что незадолго перед тем утверждал, и наоборот — утверждать то, что отрицал ранее.

Загадочны люди в его изображении; поражает странная алогичность их поведения: они у летописца часто бездействуют, когда надо действовать; они чрезмерно доверчивы, легко поддаются внушениям со стороны; они то недогадливы, как дети, то прозорливы, как кудесники;—странная автоматичность их поведения: они постоянно в движении, но почему они предпринимают то или иное решение, поступают так, а не иначе, обычно неясно, из летописного контекста во всяком случае; поражает их удивительная способность перевоплощаться: они у летописца меняют свой характер, как платье,—часто несколько раз в течение своего жизненного пути; убийца и злодей может у него перевоплотиться в святого, трус—в героя; может остаться в этом новом образе, но может и вернуться к прежнему.

До какой степени „экзотичен“ человек в изображении летописца, легко убедиться на примере любого древне-русского князя, жизнь которого описывает „Повесть временных лет“—допустим, Ярополка Изяславича. Его летописная биография—„Повесть“ описывает только последние пятнадцать лет его жизни, с 1071 г. по 1086 г.,—цепь фактов, один другого „темнее“.

В 1071 г. Ярополк—узнаем из „Повести“—одержал победу над Всеславом Полоцким „у Голотичьска“; в 1078 г. он принимал участие в походе против своих двоюродных братьев Олега и Бориса; в том же году сел с дозволения киевского князя

Всеволода Ярославича во Владимире Волынском и Турове; в 1084 г. Ярополк „на Велик день“ пришел в Киев—к Всеволоду; отсутствием Ярополка во Владимире Волынском воспользовались Ростиславичи (видимо, Рюрик и Василько) и захватили город; Всеволод вступился за племянника—послал сына Владимира (Мономаха) восстановить порядок, что тот и сделал: вернул Ярополку Владимир; в 1085 г. Ярополк задумал итти походом на Всеволода, но тот его предупредил—послал навстречу Владимира; Ярополк, оставив в Луцке мать и дружину, бежал „в Ляхи“; „Володимер же посади Давыда [Игоревича] Володимери, в Ярополка место, а матерь Ярополчю и жену его и дружину его приведе Киеву и именье взем его“; в 1086 г. Ярополк вернулся „из Ляхов“ и помирился с Мономахом: Мономах вернулся назад в свой Чернигов, а Ярополк снова сел во Владимире; в том же году Ярополк пошел на Звенигород Галицкий, но по пути туда 22 ноября 1086 г. был убит—„прободен бысть от проклятого Нерадьця“.

Этот перечень событий из жизни Ярополка Изяславича—читателю, кстати сказать, приходится перечень этот воссоздавать по частям, так как в самой „Повести“ он разбросан по разным местам, —несколько напоминает приключенческий фильм, на который почему-либо попадаешь, когда он уже демонстрируется: действие в разгаре, герой мечется на экране, спешит, торопится, но куда и зачем спешит и торопится—непонятно. Впечатление примерно то же: совершенно неясно, например, зачем Ярополк в 1084 г. поехал в Киев к Всеволоду; почему в 1085 г. пошел на Всеволода походом именно в тот момент, когда тот оказал ему немаловажную услугу—вернул

волость; зачем в 1086 г., когда вторично сел во Владимире, пошел на Звенигород Галицкий; кто был тот „проклятый“ Нерадец, который убил Ярополка и за что он его убил...

К перечню событий из жизни Ярополка летописец присоединил краткую характеристику его как человека, но, вопреки ожиданиям, характеристика эта не только не рассеивает недоумения, вызванного предшествующим изложением, а напротив — окончательно ставит читателя в тупик. Происходит уже нечто совершенно фантастическое: Ярополк вдруг, без всяких к тому видимых оснований, неожиданно перевоплощается под пером летописца в святого, в „блаженного“. Оказывается, что этот рядовой князь-изгой, казалось бы, ничем не замечательный, весь погруженный в свои весьма прозаические волынские дела и заботы, — князь этот всю жизнь мечтал уйти от „суетного сего света и мятежа“ и всегда молил бога, чтобы послал ему, как братьям его святым Борису и Глебу, мученическую смерть от руки наемного убийцы, и бог исполнил его желание; он умер, как хотел, и тело его в Киеве встретили, как встречают мощи: навстречу вышли не только все киевляне, не только митрополит с черноризцами и пресвитерами, но и сам „благоверный“ князь Всеволод с сыновьями и боярами.

Читатель нашего времени с этим новым образом „блаженного“ Ярополка еще мог бы как-то примириться при условии, что летописец здесь имел в виду показать духовное „перерождение“ Ярополка на определенном этапе его жизненного пути. Но именно этого-то условия как раз и нет: летописный текст не дает оснований для такого толкования. Перед нами — загадка летописного рассказа в этом и заключается — совершенно

очевидно не один человек на разных этапах своего духовного роста, а два человека, два Ярополка; взаимно исключая один другого, они тем не менее у летописца сосуществуют рядом, в одном и том же контексте повествования.

Все эти и им подобные „загадки“ летописного рассказа, т. е. особенности его художественного изображения, до сих пор в нашей науке не были предметом специального анализа. Замечательная, не утратившая своего интереса и по сегодня старая работа акад. М. И. Сухомлинова, единственная пока в нашей науке работа, посвященная „Повести“ как литературному произведению,— „О древней русской летописи, как памятнике литературном“ (Ученые Записки Второго отделения Академии Наук, кн. III, СПб., 1856 и отд. СПб., 1856; переиздана в „Исследованиях по древней русской литературе акад. М. И. Сухомлинова“—Сб. отд. русск. яз. и слов. Академии Наук, т. LXXXV, № 1, СПб., 1908),—изучению художественной структуры „Повести“ уделяет сравнительно немного места; в центре внимания исследователя—вопрос о литературных источниках „Повести“.

Исследователи „Повести временных лет“, специально занимавшиеся вопросом о „генеалогии“ дошедшего до нас текста „Повести“ (последнее время русская филологическая наука занималась „Повестью“ преимущественно в аспекте этой проблемы), утверждают, что „Повесть“—памятник, над составлением которого трудился не один автор, что дошедший до нас текст „Повести“—летописный свод, которому предшествовали другие своды, не дошедшие до нас. По наблюдениям акад. А. А. Шахматова (его точка зрения является господствующей в нашей науке), дошедший до нас

текст „Повести“—результат пятикратной коренной его переработки—в 1073 г., в 1095 г., в 1112 г., в 1116 г. и в 1118 г. А. А. Шахматов, как известно, не ограничился одним утверждением этого положения, но предложил и свой опыт реконструкции тех летописных сводов, которые легли, по его предположению, в основу „Повести“.

Исследования текстологов и, в первую очередь, работы акад. А. А. Шахматова позволяют поставить вопрос: не вторичного ли происхождения все эти „загадки“ летописного повествования, не результат ли они постепенного наслоения одного текста на другой—вставок, сокращений, перестановок и пр., естественных для памятника, текст которого неоднократно перерабатывался, пережил длительную и сложную историю?

Сам А. А. Шахматов специально изучением художественной структуры „Повести“ не занимался: это не входило в задачу его исследования. Когда же он в ходе своих текстологических разысканий наталкивался на те или иные „загадки“ летописного художественного изображения, то обычно вопрос об их происхождении решал в соответствии со своей концепцией, т. е. объяснял их движением текста.

Не отрицая возможности вторичного происхождения отдельных художественных „загадок“ летописного повествования—в процессе движения текста, думаю, однако, что свести к этому движению всю художественную структуру „Повести“, т. е. по существу снять самый вопрос о своеобразии летописного художественного изображения, нельзя; вероятно, с этим согласился бы и сам А. А. Шахматов.

Своеобразие летописного художественного изображения составляет, очевидно, изначальную

принадлежность „Повести“, коренится в самой природе его, летописца, исторического и художественного мышления.

Так ли это,—ответ на этот вопрос, на данном этапе нашей науки, может дать только анализ реально дошедшего до нас текста „Повести“, <sup>1</sup> к которому и перехожу, оставляя в стороне вопрос о генеалогии этого текста, требующий специального рассмотрения.

Реально дошедший до нас текст „Повести“ может стать предметом анализа и независимо от его родословной, ибо какую бы сложную историю ни пережил текст того или иного литературного произведения, текст этот в своей окончательной редакции никогда не теряет своего единства как по содержанию, так и по форме: отрицать это единство в данном случае значило бы рассматривать дошедший до нас текст „Повести“, легший в основу всего древне-русского летописания, как механический сплав разного рода напластований, как текст неполноценный и по содержанию и по форме.

Реально дошедший до нас текст „Повести“ должен лечь в основу анализа и потому, что он реальный, т. е. безусловно достоверный.

По нашему мнению, анализ художественной структуры этого текста должен предшествовать решению генеалогической проблемы, так как, быть может, позволит точнее определить, что в тексте этом следует отнести за счет его истории и что—за счет его художественной структуры.

---

<sup>1</sup> По единодушному мнению всех исследователей „Повести временных лет“, Лаврентьевский список „Повести“ наиболее близок к ее первоначальному виду; он и положен в основу анализа; цитируется по изданию: Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. СПб., 1910.

Прежде чем перейти к центральной задаче настоящего исследования, позволю себе несколько замечаний о дошедшем до нас тексте „Повести“ как памятнике историографии Киевской Руси.

Природу „Повести временных лет“, как памятника историографии, установить нетрудно, если внимательно присмотреться даже к такой детали летописного повествования, как портрет того или иного исторического деятеля—героя повествования.

„Бе же Мьстислав дебел теломь, чермен лицем, великыма очима, храбор на рати, милостив, любяше дружину по велику, именья не щадяше, ни питья, ни еденья браняше“ (стр. 146—147);

„Бе же Ростислав мужь добль, ратен, в возрастомь же леп и красен лицем, и милостив убогым“ (стр. 162);

„Бе же Глеб милостив убогым и страннолюбив, тщанье имеа к церквам, тепл на веру и кроток, взором красен“ (стр. 193);

„Бе же Изяслав мужь взором красен и телом велик, незлобив нравом, криваго ненавиде, любя правду; не бе бо в немь лсти, но прост мужь умом, не воздая зла за зло...“ (стр. 196).

Как видим, портрет, т. е. описание внешнего облика героя, у летописца условен, исчерпывается двумя-тремя стандартными чертами и, как правило, всегда сводится к оценке моральных качеств героя. Оценка эта подчас перерастает под пером летописца (и здесь и ниже имею в виду того, под пером которого сформировался дошедший до нас текст „Повести“) в пространную

характеристику морального облика героя, например портрет князя Изяслава:

... не бе бо в ньм лсти, но прост мужь умом, не воздая зла за зло. Колико бо ему створиша княне! Самого выгнаша, а дом его разграбиша, и не възда противу тому зла... По истине, аще что створил есть в свете семь, етеро согрешенье, отдасться ему, занеже положи главу свою за брата своего, не желая большее волости, ни имения хотя болша, но за братню обиду...“ (см. стр. 196—197).

Не только описать факт, но и дать ему моральную оценку—правило, которому следовал летописец и тогда, когда излагал биографию героя: в этом смысле летописный портрет воспроизводит в миниатюре всю „Повесть“ в целом.

Наблюдение это легко проверить на примере биографии,—допустим, Олега Святославича.

В 1077—узнаем из „Повести“—Олег находился в Чернигове: его приютил у себя Всеволод Ярославич. В апреле 1078 г. Олег бежал „от Всеволода“ в Тмутаракань, где сидел его старший брат Роман. В том же 1078 г.—„приведе Олег и Борис [двоюродный брат Олега, тоже обездоленный—еще в детстве—своими дядьями и тоже бежавший в Тмутаракань] поганья на Русьскую землю, и поидоста на Всеволода с половци“; Всеволод пошел им навстречу; на реке Сожице 25 августа 1078 г. произошла битва, в результате которой Всеволод потерпел поражение: „победиша половци Русь, и мнози убьени быша ту“; Всеволод бежал из Чернигова в Киев к брату Изяславу просить помощи, а Олег и Борис—„придоста Чернигову, мняще одолевше, а земле Русьской много зло створше, проливше кровь хрестьяньску, ея же крове взищеть Бог от руку

ею, и ответ дати има за погубленна душа хрестьяньскы"; против мятежников двинулись Изяслав с сыном Ярополком и Всеволод с сыном Владимиром (Мономахом)—целая коалиция князей; на Нежатиной Ниве разыгралась „сеча зла“, и мятежники были разбиты: Борис был убит, а Олег „одва утече“—опять в Тмутаракань. В 1079 г. Олега схватили „козаре“ и увезли за море—„Цесарюграду“, где и заточили его; „Всеволод же посади посадника Ратибора Тмуторокани“. Пять лет спустя Олег вернулся в Тмутаракань: выгнал оттуда Давида Игоревича и Володаря Ростиславича (в 1081 г. они захватили город), а „козар“—„исече“. В 1094 г., когда в Чернигове уже сидел Владимир (Мономах), сын Всеволода, умершего в 1093 г., к Чернигову снова „приде Олег с половци ис Тмутороканя“; Владимир затворился в городе, — „Олег же приде к граду и пожже около града, и манастире пожже“; Владимир добровольно уступил ему тогда Чернигов, а сам пошел в Переяславль— „на стол отень“; Олег сел в Чернигове; между тем половцы, которых он привел с собою, „начаша воевати около Чернигова“—„Олгови не възбраняющую, бе бо сам повелел им воевати“; „се уже третьее наведе поганья на землю Русьскую,—замечает по этому поводу летописец,—его же греха дабы и Бог простил, занеже много хрестьян изгублено бысть, а друзии полонени и расточени по землям“. В 1095 г. Святополк и Владимир (Мономах) послали сказать Олегу, чтобы шел вместе с ними на половцев, но Олег отказался присоединиться к их походу: „не иде с нима в путь еди“. И стали Святополк и Владимир иметь на него за это „гнев“. „И посласта

Святополк и Володимер к Олгови, глаголюще сице: Се ты не шел еси с нама на поганья, иже погубили суть землю Русьскую, а се у тебе есть Итларевичь [сын половецкого хана Итларя, вероломно убитого Мономахом незадолго перед тем], любо убий, любо и дай нама, ть есть ворог нама и Русьстей земли“. Но Олег и на этот раз—„не послуша“ их. В 1096 г. Святополк и Владимир послали сказать Олегу, чтобы шел в Киев: „да поряд положим о Русьстей земли пред епископы, и пред игумены, и пред мужи отец наших, и пред людьми градьскими, да быхом оборонили Русьскую землю от поганых“. Но и тут не послушался их Олег: „въсприим смысл буй и словеса величава, рече сице: Несть мене лепо судити епископу, ли игуменом, ли смердом; и не въскоте ити к братома своима, послушав злых советник“. Тогда Святополк и Владимир пошли на него походом: „Да се ты ни на поганья идеши, ни на совет к нама, то ты мыслиши на наю и поганым помагати хочещи,—а Бог промежи нами будет“. Олег бежал из Чернигова и, когда за ним погнались, затворился в Стародубе. После 33-дневной осады Стародуба Олег сдался; „вылезе Олег из града, хотя мира“. Святополк и Владимир „мир“ ему дали, однако с условием, что он уйдет к брату Давиду в Смоленск, откуда они оба прибудут в Киев на съезд; „Олег же обещася се створити, и на семь целоваша крест“. Обещания своего прибыть в Киев он, однако, не исполнил, нарушил крестное целованье: „не всхоте сего Олег створити, но пришед Смолинску и поим вои, поиде к Мурому, в Муроме тогда сущю Изяславу Володимеричю“. Олег предложил Изяс-

лаву уйти из его, Олега, „отчины“; „когда же Изяслав отказался, Олег „пойде к граду с вой“. На поле перед городом завязалась „брань люта“: Изяслав был убит, „Олег же вниде в город“; пленных ростовцев, белозерцев и суздальцев, которых собрал Изяслав,—„покова“. Из Мурома Олег пошел на Суздаль и Ростов (волость Мономаха); „пришед Суждалю, и суждалци дашася ему; Олег же омирив город, овы изъима, а другыя расточи, и именья их отъя; иде Ростову, и ростовци вдашася ему“. „И перея всю землю Муромску и Ростовску, и носажа посадники по городом, и дани поча брати“. Узнав об этом, Мстислав, другой сын Мономаха, сидевший в Новгороде, послал сказать Олегу: „Иди ис Суждаля Мурому, а в чюжей волости не седи“, и обещал на этом условии помирить его с отцом. „Олег же не всхоте сего послушати, но паче помышляше и Новъгород переяти“. Мстислав пошел на Олега... „Олег же приде к Суждалю,— и слышав, яко идетъ по немь Мстислав, Олег же повеле зажещи Суждаль город“. Мстислав, придя в Суздаль, обнаружил необычайное благородство: стал просить мира и даже выразил готовность во всем слушаться Олега, как младший старшего. Олег—„с лестью“—дал согласие на мир. Мстислав поверил ему и—„распусти дружину по селом“. Неожиданно пришла к нему весть, что Олег—на Клязьме, „близь бо бе пришел без вести“; Мстислав не растерялся и успел снова собрать дружину: „Бог весть избавляти благочестивыя своя от лъсти“. „Олег же установися на Клязьме, мня, яко, бояся его, Мстислав побегнетъ...“ „Брань крепка“, завязавшаяся между противниками, окончилась не в пользу

Олега: „одоле“ Мстислав. Преследуя Олега, Мстислав, в Рязани, еще раз обнаружил необычайное благородство,—послал Олегу сказать: „Не бегай никаможе, но пошлися к братьи своей с молбою, не лишать тя Русьские земли; и аз пошлю к отцю молится о тебе“. Олег обещал последовать совету и на этот раз слово сдержал. На Любечском съезде 1097 г. Олег—он на съезде присутствовал—получил свою долю в „Русьстей земле“, одну из „отчин“ своего отца (Новгород-Северск с Курском и Посемьем) и успокоился. . .

Излагая все эти эпизоды многобурной биографии Олега Святославича, летописец, как видим, не скрыл своего отношения к Олегу и его поступкам; перед нами—цепь фактов в его, летописца, моральной оценке.

Об оценке этой, в данном случае подчеркнута отрицательной, свидетельствует прежде всего сам отбор слов: „придоста Чернигову, мняще одолевше. . .“, „пож же около града, и манастыре пож же. . .“, „въсприим смысл буй и слова величава“ и т. п. Уже один этот подбор слов создает своеобразную морально-дидактическую атмосферу вокруг Олега, вокруг того или иного эпизода его деятельности,—атмосферу, явно для него неблагоприятную.

Не подлежит сомнению, что летописец, излагая биографию этого князя-мятежника, „много зла“ сотворившего „Русьстей земле“, имел в виду именно осудить его, что и нашло свое отражение, как видим, в его, летописца, языке, его словоупотреблении.

Свидетельствует об этом и комментарий летописца к тому или иному „поступку“ Олега, т. е. переход от косвенной моральной оценки к прямой: „Се уже третье навезде поганья на

землю Русьскую, егоже греха дабы и Бог простил, занеже много хрестьян изгублено бысть, а друзии полонени и расточени по землям“ и т. п. К такому переходу от косвенной оценки к прямой летописец прибегал нередко, и тогда рассказ его—с вынесением оценки на поверхность повествования—приобретал характер уже вполне открытой морально-дидактической проповеди.

Свидетельствует об этом и отказ летописца от какой-либо реабилитации Олега: все, что могло бы в какой-либо мере смягчить его приговор над Олегом, устранено из рассказа. В 1077 г.—сообщает летописец—Олега приютил у себя в Чернигове Всеволод Ярославич; что заставило Олега искать убежища у Всеволода, на этот вопрос летописец не дает ответа; между тем известно, что Олег вынужден был принять предложение Всеволода, ибо незадолго перед тем Изяслав и Всеволод „вывели“ его насильно из Владимира Волынского, где он сидел (см. „Поучение“ Мономаха). В 1079 г.—читаем у летописца—„Олга емше козаре, поточиша и за море Цесарюграду“; историки теперь не сомневаются в том, что к этой ссылке Олега „за море“ приложил руку и Всеволод, но летописец молчит об этом.<sup>1</sup> В 1096 г.—читаем у летописца:—„Святополк и Володимир посласта к Олгови, глаголюще сице: Поиди Киеву, да поряд положим о Русьстей земли...“; по единодушному мнению историков, это приглашение Олега в Киев—демагогическая хитрость: „Святополк и Владимир решили устроить инсценировку

---

<sup>1</sup> М. Грушевський, Історія України-Руси, т. II, Львів, 1905, стр. 72; В. В. Мавродин, Очерки истории Левобережной Украины (С древнейших времен до второй половины XIV века), Л., 1940, стр. 190.

совета с Олегом, лучшим результатом которого для Олега была бы отправка его в поруб<sup>1</sup>; у летописца нет и намека на возможность такого исхода.

Заслуживает внимания в этой связи и еще одна деталь летописного повествования об Олеге. В 1094 г.—сообщает летописец—„приде Олег с половци ис Тмутороканя, и приде Чернигову... Половци же начаша воевати около Чернигова, Олгови не възбраняюще, бе бо сам повелел им воевати“. Непосредственно за этим известием следует у него рассказ о беде, постигшей Русскую землю в том же году, о налете саранчи: „В се же лето придоша пружи на Русьскую землю, месяца августа в 26, и поедоша всяку траву и многа жита; и не бе сего слышано в днех первых в земли Русьсте, яже видеста очи наши,—за грехы наша“. Это пояснение: „за грехы наша“, а также начальная строка рассказа: „В се же лето придоша пружи...“, дают основание полагать, что летописец оба эти события—приход Олега с погаными к Чернигову и налет саранчи—ставил в прямую связь: саранча и произведенные ею опустошения—кара за „грехы наша“, за поступок Олега.

Преступление почти всегда, как правило, влечет за собою у летописца кару; гибель Игоря—кара за его корыстолюбие и жадность („аще ся въвадит волк в овце, то выносить все стадо, аще не убьютъ его“); трагическая гибель Святослава—кара за то, что он в свое время матери не послушал („аще кто матери не послушаетъ, в беду впадаетъ“).

<sup>1</sup> В. В. Мавродин. Сб. 206; ср.: М. Грушевский, стр. 86—87.

славича—наказание за то, что он, Ярополк, брата своего Олега „власть перья“, что и явилось причиной преждевременной смерти Олега при осаде города Вручого, куда он бежал, спасаясь от Ярополка; гибель Святополка Окаянного—кара за грех братоубийства; смерть Бориса Вячеславича на Нежатиной Ниве—кара за тройное преступление: он навел половцев на Русь, против „стрыя“ своего восстал, накануне битвы—„похвалился велми, не ведый, яко Бог гордым противится, смиренным даеть благодать, да не хвалится сильный силою своею“ (стр. 195)..

Эта тенденция всякое несчастье, обрушившееся на отрицательного героя, и даже, как видим, самую смерть его осмыслять как справедливое возмездие за совершенное им преступление,—тенденция эта находит у летописца свое выражение и в самой композиции его повествования: рассказ о каре следует у него почти всегда непосредственно за рассказом о преступлении, как его естественное продолжение.

„Классическим“ примером такого построения повествования, целиком рассчитанного на морально-дидактический эффект, может служить и рассказ летописца о событиях 1067—1068 гг. „Заратися Всеслав, сын Брячиславль, Полоцкий, и зая Новъгород...“,—читаем у него под 1067 г. Ярославичи—Изяслав, Святослав и Всеволод—решили примерно наказать мятежника: пошли на него походом. На Немиге, где завязалась „сеча зла“, Ярославичи одержали победу над Всеславом,—он едва спасся бегством. Два месяца спустя Ярославичи, „целовавше крест честный к Всеславу“, сказали ему: „Приди к нам, яко не створим ти зла“.—„Он же надеявся целованью креста, перееха в лодьи черес Днепр“. Но Ярославичи слова

не сдержали: не успел Всеслав сойти на берег, как они его схватили,—„преступивше крест“. Изяслав привел Всеслава в Киев и посадил его в „поруб“ с двумя сыновьями. За вероломство свое Ярославичи были тотчас же наказаны: „придоша иноплемьници на Русьску землю, половци мнози“,—читаем у летописца под 1068 г. Ярославичи двинулись им навстречу, но потерпели жестокое поражение. Земля Русская стала жертвой половецкого погрома. Из дальнейшего рассказа летописца узнаем, что Изяслава—главного виновника всего происшедшего—постигла и еще одна „казнь“: против него, когда он бесславно вместе с Всеволодом прибежал в Киев после поражения, восстали „люде кыевстии“, разграбили его „двор княжь“, освободили из поруба Всеслава; Изяслав вынужден был бежать „в Ляхы“, „Всеслав же седе Кыеве“. В том, что летописец ставил в прямую связь все эти события, нет никаких сомнений: „Се же Бог яви силу крестную, понеже Изяслав целовав крест, и я [Всеслава], темже наведе Бог поганья, сего же [Всеслава] яве избави крест честный“,—писал он, комментируя события 1068 г. Сам бог—с точки зрения летописца—„показа силу крестную на показанье земле Русьстей,—да не преступают честнаго креста, целовавше его“ (см. стр. 167—168).

Рассказ этот типичен для летописца, никогда не забывавшего извлечь какой-либо урок из прошлого—„на показанье земле Русьстей“. Рассказ этот с предельной четкостью обнажает природу „Повести временных лет“ как памятника историографии.

„Повесть временных лет“—книга, преследующая чисто практическую задачу: показать на ряде конкретных примеров—в рамках рассказа о про-

шлом,—как надо и как не надо поступать; книга о прошлом Русской земли, но каждой строкой своей повернутая в сторону русской действительности, современной летописцу; книга, проникнутая духом большой тревоги и беспокойства за будущее Русской земли. Летописец писал ее в надежде, что она станет настольной книгой для современных ему князей, что они не только найдут в ней необходимую для себя моральную поддержку, но и воспользуются ее уроками, как руководством к действию, как учебником поведения в практике своей повседневной государственной деятельности.

В состав „Повести“, неизвестно кем и когда, было включено „Поучение к детям“ Мономаха; факт этот (см. Лаврентьевский список „Повести“) свидетельствует, что современники летописца или его ближайшие потомки замысл его уловили: „домострой“ Мономаха пафосом своего морально-политического учительства напомнил им „Повесть временных лет“.

Эта характеристика „Повести“—она подсказана нам вышеприведенными наблюдениями—нуждается в одной существенной оговорке. Мораль летописца—отнюдь не абстрактна; это не мораль монаха-отшельника, далекого от „житейского волнения“, для которого добро и зло—уже давно традиционные категории, лишённые конкретного содержания; это мораль человека, кровно и непосредственно заинтересованного в судьбе Русской земли, озабоченного ее современным положением и ее перспективами на будущее.

Мораль летописца—конкретна; добро для него—только то, что несет в его понимании благо Русской земле; зло—все, что угрожает ее благополучию и процветанию.

Убийство—преступление, но не всегда; убийство Олегом Аскольда и Дира, например, не вызывает со стороны летописца осуждения; они—самозванцы („Вы неста князя, ни рода княжа, но аз есмь роду княжа“,—говорит им Олег); они овладели Киевом, не имея на то законного права (стр. 22—23).

Нарушение клятвы, вероломство и предательство—тяжкий грех, но не по отношению к врагам Русской земли; когда в 1095 г. в Переяславль к Владимиру Мономаху пришли на „мир“ половцы—Итларь и Кытан, дружина посоветовала ему убить послов. „Како се могу створити, роте с ними ходив?“—спросил Владимир; дружина так ответила ему на это: „Княже! Нету ти в том греха; да они всегда к тебе ходяще роте, губять землю Русьскую и кровь хрестьянску проливають бесперестани...“—„И послуша их Володимер...“ (стр. 219—220); не подлежит сомнению, что летописец полностью разделял мнение дружины.

Тягчайшее преступление—нанимать чужеземцев, в частности, половцев в своих личных интересах, но если это делается в целях восстановления порядка на Руси или обороны ее границ, то практика эта летописцем не осуждается: отправляясь в поход против Святополка Окаянного в 1015 г., Ярослав взял с собою и „варяг тысячу“ (стр. 138); когда в 1018 г. стали угрожать ему „ляхы“, которых привел на Русь Святополк, он пошел им навстречу, опять, как и за три года до того, „совокупив Русь, и варягы, и словене“ (стр. 139); так же поступил он и в 1036 г., когда на Киев напали печенегы (стр. 147); не вызывает осуждения со стороны летописца и поступок Мономаха, когда он в борьбе с мятежником Олегом

Святославичем однажды воспользовался его же оружием: в помощь сыну Мстиславу послал другого сына Вячеслава— „с половци“ (стр. 231).

Не осуждаются случаи, когда войска наемные или русские, но не входящие в состав княжеской дружины, ставятся князем перед битвой в положение более опасное, чем его собственная дружина; накануне Лиственской битвы князь Мстислав „с вечера исполчив дружину, и постави север в чело противу варягом, а сама с дружиною своею по крилома“; после битвы Мстислав, когда увидел „лежащие сечены от своих север варягы Ярославле“, сказал: „Кто сему не рад! Се лежить северянин, а се варяг, а дружина своя цела“ (стр. 144—145); двенадцать лет спустя, в 1036 г., примеру Мстислава последовал и Ярослав, когда напали на Киев печенеги: „постави варягы по среде, а на правой стороне кыяне, а на левемь криле новгородци“ (стр. 147); ни тот ни другой факт эпического спокойствия летописного повествования никак не возмущают.

Не осуждается летописцем даже погром целых русских городов, если это вызывается государственной необходимостью: отправляясь в 1067 г. в поход против Всеслава Полоцкого, Ярославичи осадили Минск; взяли город и жестоко расправились с его жителями: „и ссекоша муже, а жены и дети вдаша на щиты“ (стр. 162); когда в 1078 г. Ярославичи—Изяслав и Всеволод—осадили Чернигов, преследуя Олега Святославича, Владимир Мономах, который тоже принимал участие в походе, „приступи ко вратом всточным, от Стрежени, и отя врата,—и взяша град околный, и пожгоша и“ (стр. 195).

Расправа, подчас жестокая, над князьями-изгоями со стороны старших в роде князей также не

осуждается летописцем, — даже независимо от того, успели они или не успели „заратиться“ против них; в 1036 г. Ярослав „всади“ брата своего Судислава в поруб — „оклеветан бе к нему“, в котором тот и просидел 23 года (по летописному счету — 24 года), пока его не освободили оттуда Ярославичи (стр. 147, 158); в 1057 г. Ярославичи, когда умер в Смоленске их брат Вячеслав, отняли у его сына Бориса „отчину“ и передали ее брату Игорю (стр. 158); в 1069 г. Изяслав — „прогна Всеслава ис Полотьска, посади сына своего Мъстислава Полотьске. . .“ (стр. 169); все эти и им подобные факты не вызывают со стороны летописца каких-либо возражений; не вызывает возражений с его стороны даже чудовищная по своей несправедливости попытка в 1100 г. коалиции князей во главе с Мономахом отобрать у вероломно ослепленного Василька Ростиславича его волость — Теребовль (стр. 264).

— Мораль летописца — оборотная сторона его политической программы, его политического „исповедания веры“.

Концепция русской истории летописца — лучшее зеркало его политического мировоззрения; позволю себе напомнить ее вкратце.

„Повести“ своей летописец, как известно, предпослал небольшой рассказ о происхождении Русской земли. Рассказ этот — наименее оригинальная часть „Повести“; уже давно установлена его текстуальная зависимость от византийских хроник: в начале рассказа — сплошные выписки из Амартола и какого-то ближе нам неизвестного компилятивного хронографа.<sup>1</sup> Заимствован, однако, не

<sup>1</sup> См. А. А. Шахматов. „Повесть временных лет“ и ее источники. Тр. Отдела др.-русс. литературы, IV. Изд. АН СССР, М.—Л., 1940, стр. 42—43, 72—77.

только текст—в начале рассказа. Заимствована и лежащая в основе всего рассказа в целом концепция. Этот последний факт до сих пор не обращал на себя должного внимания; между тем не подлежит сомнению, что летописец, излагая известные ему предания о начале Русской земли, следовал уже готовой историографической схеме, подсказанной ему теми же хрониками.

„По потопе трие сынове Ноеви разделиша землю, Сим, Хам, Афет“,—так начинается рассказ. Восток достался Симу; юг—Хаму; „полунощныя страны и западныя“—Афету. После вавилонского столпотворения (обстоятельства его изложены у летописца по хронографу—очень кратко), бог разделил единый народ („род един и язык един“) на 70 и 2 народа („языка“) и рассеял их по лицу земли: сыновья Сима направились в „жребий“ своего отца—„восточные страны“; сыновья Хама—в страны „полуденьныя; сыновья Афета—на запад и в „полунощныя страны“. Одним из этих 70 и 2 народов были славяне или, как здесь их и иначе называет летописец,—норики („норци“, „нарци“). „От племени Афетова“, они направились в указанное им место—в Иллирию („Илюрик“): „ту бо беша словене первое“ (стр. 27—28). Отсюда они „по мнозех же времянех“ переселились на побережье Дуная, „где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска“. Здесь они стали постепенно расселяться и, расселяясь, распадаться на самостоятельные славянские племена. Историю этого расселения летописец делит на два основных этапа: до нашествия „волохов“ на славян и после него. Еще до нашествия „волохов“ часть славян „разидошася по земле и прозвашася имены своими, где седше на котором месте“: „морава“, чехи, „хорвате белии“, „серебрь“, хорутане. После нашеств-

вия „волохов“, не стерпев насилия от них, отделилась от дунайских славян и еще одна часть: на Висле сели „ляхове“; на Днепре—поляне; древляне; между Припятью и Двиною—дреговичи; на Двине—полочане; около озера Ильмень—словене; по Десне, по Семи и по Суле—„север“ („севера“). „И тако разидеся словеньский язык...“.

Излагая историю образования отдельных славянских племен, летописец исходил, как видим, из теории расселения единого по своему этногенезу народа из единой прародины. В духе этой же—библейской по своему происхождению—теории разрешил он и центральный для себя вопрос о начале русского народа („откуда есть пошла Руская земля“): пошла „Руская земля“ (т. е. поляне, древляне, дреговичи, полочане, словене, северяне, очевидно, и остальные русские племена) от славян дунайских в результате нашествия „волохов“ и второго расселения славян.

Концепция заимствована. Отсюда, однако, еще не следует, что рассказ летописца о происхождении Русской земли—не более как дань традиции, установившейся в византийской хронографии и освященной авторитетом Писания. Рассказ, если внимательно к нему присмотреться, свидетельствует, что историографическая схема, которой летописец здесь последовательно подчинял свое изложение, представляла для него глубоко принципиальный интерес и сама по себе: именно в ее всемирно-историческом аспекте исконное единство русского народа—родство русских племен между собою и другими славянскими племенами, родство не только по происхождению, по крови, но и по языку, по связывающим всех славян культурным традициям—приобретало для него значение непреложного исторического факта. Следуя

народному преданию в первую очередь, он не раз настойчиво подчеркивал этот факт, напоминая о нем читателю и здесь, в начале повествования, и ниже (стр. 5—6, 10—11, 25, 27—28), очевидно, придавая ему особо важное значение.

К рассказу о происхождении русского народа непосредственно примыкает, составляя его естественное продолжение, рассказ о Русской земле до образования державы Рюриковичей.

Осевшие на Русской земле племена—узнаем отсюда—принадлежащую им ныне территорию занимали уже в I веке н. э., во времена апостольские (поляне и словен апостол Андрей навел на них новой родине); жили каждое „особе“, соблюдая „обычай свои, и закон отец своих и преданья,—кождо свой нрав“; имели каждое своих местных князей (поляне, древляне, словене, полочане...); сперва жили „в мире“, но потом стали обижать друг друга (древляне первые нарушили мир, напав на полян); в конце концов почти все они утратили независимость: напали на них чужеземцы „околные“ и потребовали дани—земля Русская принуждена была подчиниться насилию; поляне, северяне, вятичи и, судя по летописному известию под 885 г., радимичи стали платить дань хозарам, словене и кривичи—варягам.

В 862 г. произошло событие, в корне изменившее это положение. В 862 г. северные русские и не-русские племена „изгнаша варяги за море и не даша им дани, и почаша сами в себе володети“. Племена эти, однако, не сумели установить у себя должного „наряда“: опять, как и раньше, „въста род на род, и быша в них усобице, и воевати почаша сами на ся“. Тогда словене, чюдь, кривичи и весь „идоша за море к варягом“ и призвали к себе на княженье трех

братьев от варяжского племени Русь—Рюрика, Синеуса и Трувора; призвали добровольно, по собственной инициативе. Братья дали согласие: „пояша по собе всю русь и придоша; старейший, Рюрик, седе Новегороде,<sup>1</sup> а другой, Синеус— на Беле-озере, а третий Изборьсте—Трувор“ (стр. 18—19).

„Предистория“ Русской земли закончилась, началась история (такова несомненно концепция летописца): возникла новая династия русских князей, на этот раз уже единая для всей Руси. Тот факт, что династия эта оказалась варяжского, т. е. не-славянского происхождения, летописца отнюдь не смущал.

Варяжское происхождение династии Рюриковичей стало беспокоить русских историков не ранее XVII века,—когда в сознании историков стало складываться понятие нации.<sup>2</sup> Летописцу начала XII века категория эта была чужда, и он не видел ничего оскорбительного для достоинства русского народа в том, что возникшая в IX веке новая династия русских князей—не-славянского происхождения; для него гораздо существеннее было то, что династия эта—исконно княжеского рода.

Интересна одна деталь летописного рассказа: известие о том, что почти все русские племена (словене, кривичи, поляне, северяне, вятичи) вынуждены были платить дань чужеземцам, одни—

---

<sup>1</sup> Вариант: „в Ладозе“. См.: Летопись по Ипатскому списку. СПб., 1871, стр. 11.

<sup>2</sup> См.: Синописис, или Краткое собрание от разных летописцев, о начале Словяно-Российскаго народа... Киев, 1674, стр. 20 „...Варяги над морем Балтийским, еже от многих нарицается Варяжское, селения имуще, языка словенска бяху и зело мужественны и храбры“.

варягам, другие—хозарам, летописец отнес к определенному году—859 (стр. 12), т. е. факт этот поставил в прямую связь с появлением новой династии русских князей в 862 г. (годы 860—861 у летописца—„пустые“): Русская земля, следовательно, утратила независимость непосредственно перед появлением династии Рюриковичей. Отсюда напрашивался вывод, на что, видимо, летописец и рассчитывал: историческая миссия династии Рюриковичей заключалась прежде всего в том, чтобы освободить эти племена от чужеземного гнета.

Новая династия русских князей эту задачу выполнила; так как варяги с утверждением новой династии князей на северной окраине Русской земли уже не представляли серьезной опасности, Рюриковичи в первую очередь занялись хозарами: Олег в 884 и 885 гг. освободил от хозарского ига северян и радимичей (стр. 23); Святослав в 964 г.—вятичей (стр. 63); год спустя Русская земля окончательно была освобождена от хозарского „насилия“: в 965 г. Святослав не только одолел их в битве, но и взял их город Белую Вежу (стр. 63—64); что касается полян, то их от дани хозарам освободили уже в 862 г. бояре Рюрика—Аскольд и Дир (стр. 20).

Одновременно Рюриковичи поставили себе и еще одну задачу, разрешить которую до сих пор не удавалось ни одному из русских племенных князей: объединение Русской земли под своею властью. И эту задачу Рюриковичи—не сразу, правда, но в конце концов выполнили—выполнили в масштабах, превзошедших самые смелые ожидания: уже Рюрик за семнадцать лет своего княженья успел подчинить своей власти Новгород, Полоцк, Ростов, Бело-озеро, Муром, т. е. почти всю

северную окраину Русской земли (стр. 19); преемнику Рюрика Олегу удалось раздвинуть державу Рюрика далеко вглубь по направлению к югу: уже в 882 г., три года спустя после смерти основоположника династии, ему покорились не только Смоленск, Любеч и, видимо, Чернигов, но и сама „мати градом Русьским“—Киев (стр. 22—23; ср. стр. 30); завершили политическое объединение Русской земли Владимир и Ярослав: там, где еще сравнительно недавно ютились разрозненные и постоянно враждовавшие между собою „варварские“ племена, русские и не-русские, теперь—при этих князьях—окончательно сложилась обширная и могучая христианская держава—та самая „Руская земля“, при одном упоминании о которой летописца охватывало чувство законной гордости за свою родину.

В борьбе за независимость Русской земли Рюриковичи добились того, что всегда составляло ее заветное желание: они восстановили ее исконное единство; чтобы показать это, летописец и предпослал своему изложению рассказ о происхождении русского народа; они дали Русской земле „наряд“; они положили конец межплеменной „усобице“—обеспечили Русской земле „мир“ и „тишину“.

Когда летописец писал свою „Повесть“, эта „Руская земля“, которую „трудомь своимь великим“ построили „отцы“ и „деды“, была уже в прошлом: старая, до-феодальная Русь уже уступила свое место новой—феодальной. С недоумением, горечью и тревогой присматривался летописец к тому, как под напором новых исторических факторов один за другим рушились дорогие ему устои старого политического порядка. Феодальные войны конца века, нависшая над стра-

ной половецкая опасность (летописец был свидетелем опустошительного нашествия половцев на Русскую землю в 1093 и в 1096 гг.), хроническая неустойчивость политической ситуации в стране, подозрительная активность „несмысленных“ при дворе киевского князя—все это наводило летописца на самые печальные размышления; казалось, что „отцы“ и „деды“ трудились напрасно, что земля Русская повернула вспять—к исходному пункту своей истории, что начинать надо все сначала.

Политическая программа летописца—она с полной отчетливостью выступает на фоне его концепции русского исторического процесса—прямолинейна, как и его мораль; сводится она, вся, к одной по существу идее: необходимо предотвратить грозящую Русской земле катастрофу, любой ценой восстановить былое „самовластье“ старейшего в роде киевского князя, любой ценой предохранить от распада, пока еще не поздно, политическое единство Русской земли.

Задачу эту должны взять на себя в первую очередь князья: они своими усобицами расшатали это единство, они и обязаны его восстановить. Они без труда этого добьются, если одумаются, будут жить „по устроенью отню и дедню“: в мире и любви между собою, „послушающе брат брата“, не „которающесея“; если будут стол отца своего занимать по обычаю, „не преступая предела братня“—„с правдою, а не с насильем“; если всегда будут помогать друг другу и Русской земле.

Летописец не сомневался, что, если князья последуют этим его советам, поймут сами свой долг, цель будет достигнута: „устроенье“ отцов и дедов будет спасено и не раз еще послужит в руках

сыновей грозным оружием против внешних и внутренних врагов земли Русской.

В нашей науке уже давно и прочно утвердилась точка зрения на „Повесть временных лет“—А. А. Шахматова и его последователей в данном вопросе—как на летопись княжескую; дошедший до нас текст „Повести“ (о нем идет речь) был составлен „по поручению“ Мономаха в 1116 г. в „политической канцелярии“ этого князя—в Выдубицком монастыре (Лаврентьевский извод); заново отредактирован два года спустя в Киево-Печерском монастыре при ближайшем участии сына Владимира Мономаха—Мстислава Владимировича (Ипатьевский извод).<sup>1</sup>

Дошедший до нас текст „Повести“—и того и другого извода—не подтверждает, по моему мнению, этого положения. Невероятным кажется, что в „политической канцелярии“ Мономаха и по его заказу могла быть составлена такая летопись: до такой степени по своему содержанию, по своим политическим симпатиям и антипатиям, по всему своему политическому мировоззрению не соответствует она задачам „княжеской“, официальной историографии.

Если Сильвестр, игумен Выдубицкого монастыря, известная приписка которого (см. Лаврентьевскую летопись) служит единственным фактическим доводом в пользу „выдубицкого“ происхождения дошедшего до нас текста „Повести“ (Лаврентьевский извод), действительно не просто переписал (приписку Сильвестра: „написах книги си Летописець“—ведь можно толковать

---

<sup>1</sup> См.: А. А. Шахматов. Повесть временных лет, т. I. Вводная часть. Текст. Примечания, II, 1916 (Летопись занятий Археографической комиссии за 1916 год, вып. XIX), стр. XVI, XXVII, XXXVII.

и так),<sup>1</sup> но и редактировал ее, что менее вероятно, то надо признать только одно: задачу свою он выполнил плохо—с точки зрения требований официозной историографии.

Официозный историограф Мономаха, литератор „политической канцелярии“ при особе князя, надо полагать, обнаружил бы прежде всего меньшую политическую наивность; наивен и утопичен был его, летописца, проект реставрации старого, до-феодалного политического порядка в условиях наступающего феодализма; наивна и утопична—с точки зрения даже рядового деятеля „политической канцелярии“ князя—была его мысль искать спасения от неурядиц современности именно в том самом политическом порядке, который эти неурядицы и порождал;—его вера в возможность нравственного перевоспитания князей; как известно, веры этой не поколебала в нем даже участь Василька Ростиславича, на другой же день после Любечского съезда князей в 1097 г. вероломно ослепленного своими „братьями“.

Официозный историограф Мономаха обнаружил бы, несомненно, меньшую политическую близорукость; за внешней формой того или иного факта или документа летописец сплошь и рядом не улавливал их действительного содержания: он простодушно цитирует и „завет“ Ярослава (не сам ли он его и составил?)—этот кодекс политической морали до-феодалной Руси, и решение Любечского съезда 1097 г., несмотря на то, что этот последний документ узаконял именно тот новый политический порядок—принцип „отчинности“, против которого он боролся; рассказ свой

<sup>1</sup> Ср. В. М. Истрин. Замечания о начале русского летописания. Л., 1924 (из „Известий“ ОРЯС АН, т. XXVII), стр. 236 и сл.

о распре Ярослава и Мстислава Тмутараканского он—под 1026 г.—закончил сообщением о том, что Ярослав и Мстислав „разделиста по Днепръ Русьскую землю: Ярослав прия сю сторону, а Мьстислав ону“; ни это противоестественное, если рассматривать этот факт с точки зрения политических убеждений летописца, двоевластие, ни добровольный отказ Мстислава сесть в Киеве не вызывают со стороны летописца каких-либо замечаний: „и начаста жити мирно и в братолюбьстве, и уста усобица и мятежь, и бысть тишина велика в земли“,—писал он, явно недооценивая опасности, которую таила в себе эта „тишина велика“—первая вестница нового ненавистного летописцу политического порядка; как известно, летописец не пожалел слов, чтобы изобразить Владимира Мономаха в наиболее выгодном для него свете; он—горячий его почитатель; Владимир Мономах пользовался большой популярностью у киевлян, и есть основание думать, что летописец, разделяя общее мнение, осуществления своих политических чаяний ждал в первую очередь именно от него: форма и тут заслонила ему действительное положение вещей; политика Мономаха ничего общего с его, летописца, политическим консерватизмом не имела; Мономах был одним из наиболее последовательных сторонников феодального политического строя.<sup>1</sup>

Далее,—и это обстоятельство хотелось бы особо подчеркнуть,— княжеский, официозный историограф несомненно обнаружил бы меньшую независимость мысли; вряд ли он позволил бы себе так говорить о князьях, как это нередко

---

<sup>1</sup> См.: Б. Д. Греков. Киевская Русь. Изд. АН СССР, М.—Л., 1944, стр. 296—299.

разрешал себе летописец, — резко, прямолинейно, не выбирая слов, не щадя ни имен, ни репутаций; когда князья творили зло, летописец судил их своим судом; он обличал их пороки с темпераментом истого моралиста-проповедника, он угрожал им всякими карами, земными и небесными... Факт этот нельзя игнорировать, тем более, что летописец писал свою „Повесть“, когда многие из действующих лиц его рассказа были еще живы: например, Давид Игоревич (ум. в 1112 г.), очень возможно, Олег Святославич (ум. в 1115 г.), Давид Святославич (ум. в 1123 г.), Василько и Володарь Ростиславичи (ум. в 1124 г.), Ярослав Святославич (ум. в 1130 г.). Для летописца все князья были равны, все — дети „одного отца и матери“. Вся династия в целом — законные князья, самим богом поставленные владеть Русской землей. Всякий князь, независимо от своего отца и деда, для него хорош, если он соответствует его, летописца, идеалу „доброе“ князя, и плох, если он этому идеалу не соответствует. Положительный отзыв летописца о Глебе Святославиче (см. стр. 175—176, 193) свидетельствует, что у него не было даже каких-либо специально черниговских антипатий (династии Святослава Ярославича), несмотря на подчеркнута отрицательное отношение его к Святославу Ярославичу и сыну его Олегу.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Эта независимость мысли древнего летописца уже в старину обращала на себя внимание; показательна в этом отношении ссылка на „Повесть временных лет“ одного из русских летописцев XV века. Подвергнув критике некоторые мероприятия московского князя Василия Дмитриевича, он писал: „Сиа вся написанна аще и нелепо кому видится, иже толико от случившихся в нашей земле не сладостна а нам и не уласканна а изглаголавшим...; мы бо не

Официозный историограф—наконец—несомненно обнаружил бы более глубокое понимание политических замыслов своего „заказчика“; не стал бы так яростно нападать на тех „несмысленных“, „младых“ советников, которыми в конце своей жизни окружил себя уже отец Мономаха—Всеволод Ярославич; не стал бы отстаивать так ригористично принцип очередного перехода князей со стола на стол; как известно, Мономах в 1117 г. „приведе“ старшего сына своего Мстислава из Новгорода и „дасть ему Белгород“; историки теперь не сомневаются, что Мономах поступил так, преследуя вполне определенную цель: передать киевский стол после своей смерти сыну, вопреки обычаю, как „отчину“; намерения свои Мономах, правда, обнаружил в 1117 г., когда „Повесть временных лет“, более чем вероятно, была уже написана, но отсюда еще не следует, что княжеский летописец не мог этого предугадать; далее, по утверждению А. А. Шахматова, летописец получил задание не расточать похвал „политическому врагу“ Мономаха—его предшественнику на киевском столе, покойному князю Святополку Изяславичу; личность Святополка в дошедшем до нас тексте „Повести“, действительно, в сравнении с Мономахом не-

---

досаждающе, ни поношающе, ни завидяще чти честных, таковаа вчинихом, якоже бо обретаем началнаго летословца Киевскаго, иже вся временнобытнаа земскаа, не обинуяся, показуеть; но и пръвии наши властодръжци без гнева повелевающе вся добраа и недобраа прилучившаася написовати, да и прочим по них образы явлени будуть, якоже при Володимере Мономасе оного великаго Селивестра Вылобыжскаго, не украшаа пишушася, да еже хочещи, прочти тамо прилежно... См. Полное собрание русских летописей, т. XI, СПб., 1897, стр. 211.

<sup>1</sup> М. Грушевский, стр. 111.

сколько отодвинута в тень, но—как увидим ниже—далеко не в той степени, в какой можно было бы этого ожидать от официозного Мономахова историографа, получившего к тому же специальную на то директиву.

Решительному пересмотру подлежит, по моему мнению, и самый образ летописца, утвердившийся в нашей науке (Нестора, Сильвестра или кого-то третьего—в данном случае это для нас безразлично),—многоопытного литератора-чиновника „политической канцелярии“ князя, его официозного апологета и послушного исполнителя его поручений по части идеологической „обработки“ общественного мнения. Образ этот—у А. А. Шахматова он уже отчетливо намечен—был окончательно дорисован последователями А. А. Шахматова. Позволю себе привести две цитаты, чтобы наглядно показать, в каком направлении пытались и пытаются уточнить этот образ. В „Повести“ под 992 г. читается, как известно, рассказ о единоборстве русского богатыря с печенежским, победе русского богатыря и награде, которую он получил от князя Владимира: князь не только его, но и отца его,—„великим мужем створи“, а на месте победы построил город Переяславль,—„зане перея славу отрок ть“; под 997 г.—рассказ о белгородском киселе. Оба рассказа, по утверждению проф. М. Д. Приселкова,—„отклики на современность“, умышленно „спрятанные“ летописцем в повествование о древнейших временах. „Город Переяславль упоминается еще в договоре 911 г.,—читаем у М. Д. Приселкова о первом рассказе,—так что Нестор умышленно перенес это предание на 992 г., очевидно, чтобы связать этот удивительный поступок князя, не побрезговавшего включить в свой пра-

вющий верх двух ремесленников Киева, с популярным именем Владимира Святославича... Нестор указывал этим на замкнутость современного ему правящего окружения князя Святополка, проникнуть в которое было нельзя даже за геройские подвиги перед страной, а лишь по признаку происхождения"; „Предание, включенное Нестором под 997 г.,—читаем у него о втором сказании,—рассказывало о том, как вече осажденного Белгорода решило сдаться печенегам, но один старик, на вече не бывший, уговорил белгородцев попытаться сначала обмануть печенегов, прежде чем сдаваться. Этот обман удался, и нужда в сдаче города миновала. Конечно, предание это понадобилось Нестору, чтобы показать неповоротливость, непригодность вечевого строя в критические моменты, когда ум одного выше веча, движимого голодом и неспособного к тонкой мысли. Вероятно, этим преданием Нестор в скрытой форме откликнулся на события в Киеве после смерти Святополка, когда, как весьма вероятно, в Киеве воскресла вечевая жизнь в связи с поднимавшимся и нарастающим восстанием“ (Проф. М. Д. Приселков. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940, стр. 40—41).

Прожженный политик, хитрый дипломат, в руках которого история—послушный материал, из которого можно слепить что угодно,—таков летописец у М. Д. Приселкова; он „остроумно и осторожно“ мистифицирует порою читателя (стр. 27), „умышленно“ переставляет события (стр. 28), „придумывает“ заведомо ложные факты (стр. 35), „извращает“, если это ему почему-либо нужно,

действительный порядок событий (стр. 36); он — „придворный историограф“ (стр. 37), „в угоду“ своему высокому заказчику, которому недешево „продал свое перо“ (стр. 36), всегда готовый поступиться своими убеждениями, готовый написать все, что только от него потребуют.

Этот летописец — весь из того искусственного мира, им же, М. Д. Приселковым, и построенного.

Действительный летописец, каким он рисуется нам на основе реально дошедшего до нас текста „Повести временных лет“, ничего общего с ним не имеет; он неизмеримо проще, он не так хитер, не так обуреваем „политическими страстями“, как в этом пытаются нас уверить; он, вопреки общепринятому мнению, гораздо ближе к пушкинскому Пимену; „не мудрствуя лукаво“, правдиво описывал он все, что знал, что считал необходимым рассказать; стоя в стороне от междукняжеских распрей и осуждая их, он в политической борьбе своего времени — Ярославичей и их потомков — занимал свою независимую позицию; монах — несомненно Печерского монастыря, самого демократического в Киеве по составу братии, — скорее моралист, чем политик по умонастроению, он написал свою „Повесть“ по собственной инициативе, — как выразитель общественного мнения, мнения „земли Руской“, в той мере, в какой Печерский монастырь в эту эпоху не раз мнение это отражал (см. конфликт Антония Печерского с князем Изяславом Ярославичем в 1069 г.; ср. послание Феодосия Печерского о латинянах тому же князю; конфликт Феодосия Печерского и Никона в 1073 г. с князем Святославом Ярославичем).

И это представление о „Повести временных лет“ как летописи „княжеской“, официозной, и

этот модернизированный образ летописца — „придворного историографа“, и характерная, для М. Д. Приселкова в частности, невысокая оценка „Повести“ как исторического источника, „искусственного и мало надежного“, <sup>1</sup> — все это закономерно для исследователей, утративших ощущение единства, как по содержанию, так и по форме, дошедшего до нас текста „Повести временных лет“; все это в конечном счете — звенья одной и той же цепи.

## II

У летописца была своя „философия истории“. Реконструкцию ее облегчает нам сам летописец; имею в виду его многочисленные отступления от повествования, где он, в порядке авторского комментария к своему рассказу, касался иногда и вопросов общего, „философского“ характера. Все они, эти его „философские“ фрагменты, как показывает их изучение, посвящены одной по существу проблеме — происхождению добра и зла. Интерес летописца именно к этой проблеме понятен: решая вопрос о происхождении добра и зла, он тем самым осмыслял для себя весь ход исторического процесса. Для него, моралиста, эта тенденция — свести к этике всю „философию истории“ — естественна.

В центре внимания летописца проблема зла. Источник зла в мире — диавол. О нем летописец говорит подробно дважды — устами греческого философа и Яна Вышатича. Следуя библейской легенде, греческий философ так поясняет князю

---

<sup>1</sup> М. Д. Приселков. Киевское государство второй половины X в. по византийским источникам. Учен. Зап. ЛГУ, Серия истор. наук, вып. 8, Л., 1941, стр. 216.

Владимиру появление в мире дьявола: когда бог создал небо и землю, — „видев же первый от ангел, старейшина чину ангелску, помыслив в себе, рек: «Сниду на землю, и приму землю, и буду подобен Богу, и поставлю престол свой на облацех северских». И ту абые сверже [бог] и с небесе, и по немь падоша иже беша под ним чин десятый. Бе же имя противнику Сотонаил, в него же место постави [бог] старейшину Михаила; Сотона же, грешив помысла своего и отпад славы первыя, наречеса противник Богу“ (стр. 85—86). То же примерно сообщает и Ян в полемике с белозерскими волхвами: Сатана—ангел, которого бог „за величанье“ низверг с небес в „бездну“, где он пребывает и поныне,—пока не придет бог на землю и не свяжет его и слуг его „узами“ (стр. 172).

Слуги дьявола—бесы, т. е. „десятый чин“ ангелов, низверженный с неба вместе со своим „старейшиной“, и „злые люди“.

В реальности бесов летописец не сомневался. „Суть же образом черни, крилаты, хвосты имуще“,—описывает он их внешний облик, следуя не столько Библии, сколько народному поверью (стр. 174). Этот свой „естественный“ облик бесы, по утверждению летописца, нередко видоизменяют, когда являются людям; бес может предстать человеку, смотря по обстоятельствам, и в образе ангела и „в образе зверинемь и скотьем“: „в образе медвежи“, „ово вълom, ово змие“, „ово ли жабы, и мыши, и всяк гад“ (стр. 191—192); Матфею Прозорливцу бес явился „в образе ляха—в луде“, в другой раз—верхом на свинье (стр. 184—185). Основное назначение бесов—сеять зло по указанию дьявола. „Беси бо на злое посылаеми бывають“: „понеже видять человека Богомь по-

чтена, и завидяще ему, на зло слеми скорн суть“ (стр. 132). Человек не творит зла, пока его бес не „прелстит“, не начнет „играть“ им (стр. 170); пока не станет он жертвой „бесовскаго наущенья и действия“ (стр. 170), „бесовскаго насеянья“ (стр. 178), „проньрства“ (стр. 179), „бесовскаго ученья“ (стр. 180). Бывает, что жертвой бесов становятся не только отдельные люди, но и целые города, например, Полоцк в 1092 г. „Предивно бысть Полотьске“,—рассказывает летописец: напали на Полоцк бесы; стон и „тутьн“ стоял по ночам в городе; если кто вылезал из хоромины, желая посмотреть, тотчас же бесы невидимо уязвляли того „язвою“, и умирали от того люди, не смели вылезать из хором; наконец, стали бесы появляться в городе и днем—верхом на конях, „и не бе их видети самех, но конь их видети копыта“ (стр. 207—208). Нападению бесов подвержены в одинаковой степени и мужчины и женщины; женщины в особенности: „искони бо бес жену прелсти, си же мужа“; наиболее опасны они „несвершеним верою“. Толкнув человека на злое, „ввергше и в пропасть смертную“, они потом „насмисаються“ над ним. „Влагають“ бесы злой помысл в человека обычно „во сне, инем в мечте“, непосредственно, но чаще, избирая себе для этого посредников, „злых советников“; эти „злые советники“, если они не принимают у летописца образа реальных людей, что иногда бывает,—своеобразная „реализация метафоры“, характерная для конкретного мышления летописца, аналогичная той персонификации „души“, которую нередко встречаем в памятниках древне-русской живописи.

„Злые люди“—они у летописца выполняют ту же роль, что и бесы,—люди злые по самой своей природе. Они, с точки зрения летописца, даже

опаснее бесов: „беси бо Бога боятся, а зол человек ни Бога боится, ни человека ся стыдить; беси бо креста ся боять Господня, а человек зол ни креста ся боить“ (стр. 132). Эти „злые люди“ в системе „философии истории“ летописца—своеобразный рецидив дохристианского, „варварского“ миропонимания. Они у летописца—злы уже от рождения, например Святополк Окаянный или Все-слав Полоцкий. Святополк—сын той самой „грекини“, жены Ярополка, которую „залеже“ Владимир, не взирая на то, что она была „непраздна“; „от греховьнаго бо корени зол плод бываеть: понеже бе была мати его черницею, а второе, Володимер залеже ю не по браку, — прелюбодейчичь бысть убо; тем убо и отець его не любяше, бе бо от двою отцю, от Ярополка и от Володимера“ (стр. 77). То же толкование, примитивно-натуралистическое, дает летописец, излагая биографию и Всеслава: „матери бо родивши его, бысть ему язвено на главе его, рекоша бо волсви матери его: «Се язвено навижи нань, да носить е до живота своего», еже носить Всеслав и до сего дне на себе; сего ради немилостив есть на кровьпролитье“ (стр. 151). Итак, Святополк—злодей, так как „прелюбодейчичь бысть“, Всеслав—так как родился „от вълхвованья“.

Источник добра и мире—бог и слуги его: ангелы и святые, т. е. люди добрые по самой своей природе. Ангелы—невидимы: „не мощно бо зрети человеком естества ангельскаго видети“. Являясь человеку, они показывают только „нечто мало виденья своего“; являются „ово столпом огнем“, „ово же пламеномь“, „ово инакым виденьем“ (см. Летопись по Ипатскому списку. СПб., 1871, стр. 188—189). Ссылаясь на „премудрого“ Елифа-

ния, летописец утверждает, что „к коей же твари ангел приставлен“: „облаком и мъглом“, снегу и граду, „гласом и громом“, временам года—„ко всем тварем ангели приставлены“; „также ангел приставлен к которой убо земли, да соблюдают куюждо землю, аще суть и погани“; приставлен ангел и к каждому человеку. Назначение его: влагать „добрый“ помысл в человека, оберегать его от бесовских искушений, молиться за него, заступаться за него перед богом (там же, стр. 189—191). Ангелы влагают добрые помыслы в сердце человека или непосредственно или, как и бесы, избирая для того посредников, „советников“, но только добрых, разумеется; „советники“ эти у летописца—или реальные люди (Святославу добрые советы давали мать его Ольга, воевода Свеналд; Владимиру—греческий философ, бояре и старцы градские; Мономаху—„смыслении“ и т. п.), или аналогичные „злым советникам“ летописца абстрактные персонификации.

Итак, добро и зло—побуждения, у рядового человека (не святого и не „злого“ по природе) приобретаемые. Добрые и злые помыслы возникают в сердце человека не изнутри, но всегда от толчка извне: зло—от „наущенья“ бесовского, добро—от „ученья“ ангельского. Летописный человек не случайно так легко поддается внушениям со стороны: качество это—его природа.

Утверждая наличие в мире доброго и злого начал, летописец значение демиурга придавал, однако, только одному доброму началу. Его концепция мироздания строго монотеистична и ничего общего с дуализмом не имеет. Не лишен интереса в этом отношении его рассказ под 1071 г.—богословский спор Яна Вышатича с белозерскими волхвами. Волхвы сказали Яну, что они знают,

как был сотворен человек. На вопрос Яна: „Како?“ — волхвы ответили: „Бог мывся в мовници и вспотився, отерся вехтем, и верже с небесе на землю; и расприся Сото на с Богомъ, кому в ньмъ створити человека, и створи дьявол человека, а Бог душу во нь вложи; темже аще умреть человек, в землю идетъ тело, а душа к Богу“. Этой дуалистической концепции, исходящей из равноправия доброго и злого начал в мире, бога и дьявола, летописец устами Яна Вышатича противопоставил свою, монотеистическую: „...Рече има Янь: «поистине прельстил вас есть бес; коему богу веруета?». Она же рекоста: «Антихресту». Он же рече има: «то кде есть?» Она же рекоста: «седить в бездне». Рече има Янь: «какий то бог, седя в бездне! то есть бес, а Бог есть на небеси, седя на престоле, славим от ангел, иже предстоять ему со страхом, не могуще на нь зрети;... егда придетъ Бог с небесе, сего им антихреста свяжетъ узами и посадить и, ем его, с слугами его и иже к нему веруютъ»“ (стр. 172).

Итак, дьявол, первопричина всяческого зла, отнюдь не равноправен богу. Власть его временна и ограничена пределами, установленными богом. Ограничена и власть бесов над человеком: „Беси бо не ведятъ мысли человеческия, но влагають помysl в человека, тайны не сведуще. Бог един свестъ помышленья человеческая, беси же не свedaють ничтоже,—суть бо немощни и худи взоромъ“ (стр. 174). Они получили известную власть над человеком только потому, что бог предоставил им эту власть.

Почему он дал им эту власть,—летописец объясняет, словами Амартола, так: „...вся ослабленьем Божьим и творением бесовским бы-

ваеть [речь идет о „волхвованиях“ Аполлония Тианского]; таковыми вещьми искушались наша православная вера, аще тверда есть и крепка, пребывающи Господеви и не влекома врагом мечетных ради чудес и сотонин дел, творимых от враг и слуг злобы“ (стр. 40).

Итак, зло в мире—прямой результат „ослабления Божьего“. Бог допустил зло—в известных пределах—сознательно, преследуя вполне определенную цель: искушить, проверить человека, испытать его твердость в вере, закалить его в борьбе со злом.

Цель эта достижима только при одном условии,—если человеку будет предоставлено право выбора между добром и злом; бог предусмотрел и это: дав диаволу известную власть над человеком, он одновременно человеку предоставил возможность выбора между добром и злом. Признание за человеком свободы воли и связанная с этим признанием идея ответственности человека за свои поступки—основа этики летописца, а следовательно, и всей его „философии истории“.

Человек—отнюдь не безучастный свидетель борьбы в мире доброго и злого начал, бога и дьявола, бесов и ангелов; он может и должен всегда—во всех случаях жизни—избрать между добром и злом; может и должен противостоять злему внушению, „бесовьскому насеянью и действию“. В этом—смысл его земного существования, его основная обязанность как христианина, в отличие от „поганных“, просвещенного светом „евангельского ученья“.

Бог—прежде всего моралист и все устроил так, а не иначе, из воспитательных соображений; предоставив человеку некоторую свободу с целью „искушить“ его, он, как добрый наставник, про-

должает неусыпно следить за ним. Не вмешиваясь в дела человеческие, он, однако, полностью сохранил за собою право общего руководства человеком и его поступками. Чтобы облегчить человеку выбор между добром и злом, он дал ему „закон“: тех, которые исполняют этот „закон“, пророками и апостолами в свое время „изглаго-ланний“, ждет награда; тех, которые не исполняют,—наказание. Награда и наказание—основные меры воздействия на человека, применяемые богом для его вразумления, и летописец сделал все,—как мы в этом уже могли убедиться,—чтобы наглядно продемонстрировать перед читателем неусыпное попечение божье над человеком в этом направлении.

Вознаграждает и карает человека обычно не сам бог, а его „служебнии дуси“—ангелы, послушные исполнители божьих велений.

Доброму человеку ангелы посылают по повелению божью всяческое благо: они даруют ему благополучие, довольство, помогают ему в делах его.

Этой помощи ангелов людям летописец посвятил даже специальный рассказ: о победе русских князей, одержанной ими над половцами в 1111 г. „Бог вышний возре на иноплеменники со гневом“; когда они „собраша полки своя многое множество, и выступиша, яко борове велиции, и тмами тмы и оступиша полкы рускы“, послал бог ангела в помощь русским князьям в награду за их благочестие и заботу о Русской земле, и „спасе Бог люди своя“: половцы падали „невидимо бьими ангелом, яко се видяху мнози человеци, и главы летяху невидимо стинаемы на землю“; когда спросили пленных („колодник“), как случилось, что они побежали, имея „толику силу“, те ответили: „Како можем битися с вами? а друзии ездяху

верху вас в оружьи светле и страшни, иже пома-  
гаху вам“; летописец не сомневался в том, что  
то были „ангели, от Бога послани помогать хре-  
стьянам“ (см. Летопись по Ипатскому списку.  
СПб., 1871, стр. 193).

Ангелы несут человеку, однако, не только  
помощь, но и несчастье, если так им повелит бог.  
„Аще Божий гнев будетъ на кую убо землю“,—  
писал летописец,—„то оной земле ангел невопро-  
тивится повеленью Божью“: идет на ту землю  
„бранью“,—ибо ангелы „противу Божью повеленью  
не могутъ противитися“ (там же, стр. 189—191).  
Ангелы карают—по повелению божию—не только  
человека, каждого в отдельности, но и целые  
города, целые народы: „земли же согрешивши  
которей любо, казнить Бог смертью, ли гладом, ли  
наведеньем поганых, ли ведром, ли гусеницею,  
ли инеми казньми“ (стр. 163); карают даже людей  
„без вины виноватых“—злых по природе в силу  
роковых обстоятельств своего рождения: ни их,  
ни бога не смущает тот факт, что люди эти тво-  
рить добро не могут, так как от рождения  
лишены права выбора между добром и злом.

Всякая казнь—кара за грехи, за „умноженье  
беззаконий“. Это—„батог“, при помощи которого  
бог наказывает ослушников. Даже нашествие пога-  
ных—от бога; в доказательство того, что и пога-  
ные „бо бяху водими ангелом, по повеленью  
Божью“, летописец привел из хронографа особый  
рассказ об Александре Македонском (см. Лето-  
пись по Ипатскому списку. СПб., 1871, стр. 190).  
Мысль эту летописец подчеркивал не раз: „се бо  
на ны Бог попусти поганья,—писал он по поводу  
половецкого нашествия 1093 г.,—не яко милуя  
их, но нас кажа, да быхом ся востягнули от злых  
дел...“; „иде лукавии сынове Измаилеви пожигаху

села и гумна, и многы церкви запалиша огнемъ, да не чюдится никтоже о семь: идеже множество грехов, ту виденья всякого показанія [вар.: наказанія]“ (стр. 214—215).

Всякая казнь, ниспосланная богом на человека, справедлива: „праведно и достойно есть, тако да накажемся, тако веру имем, кажеми есмы“; „...рцем велегласно: Праведен еси, Господи, и прави суди твои!“ (стр. 216). Вера в справедливость казней божьих—источник утешения для летописца. „Но обаче надеемся на милость Божью,—писал он по поводу того же половецкого нашествия 1093 г.,— не мьститъ бо Господь дважды... Да никтоже дерзнуть рещи: яко ненавидими Богомъ есмы! Да не будетъ!“ (стр. 216—218); не ведают поганые, „яко Бог кажетъ рабы своя напастми ратными, да явятся яко злато искушено в горну“ (стр. 225).

Бог терпелив, ибо он „не хоцетъ зла человеком, но блага“. Сурово наказывает он только упорных во грехе. Он предупреждает обычно о казни „знаменьями“—„в небеси, или звездах, ли солнци, ли птицами, ли етеромъ чим“, давая время человеку одуматься и покаяться. „Знаменья“ эти бывают „ова на зло, ова ли на добро“. У человека есть полная возможность добиться того, „дабы Бог обратил знаменья си на добро“ (стр. 161); своевременным покаянием, молитвою „со въздыханьем“ человек может умилоствовать бога и отвести его карающую руку,—ибо бог „не хоцетъ зла человеком, но блага“.

Итак, история человечества, рассматриваемая в своем наиболее общем аспекте, с точки зрения летописца,<sup>1</sup>—история божественного попечитель-

---

<sup>1</sup> Оставляю в стороне вопрос об источниках системы его воззрений.

ства над человеком. Человек—субъект и объект исторического процесса. В нем и конечная цель исторического процесса: „да явятся яко злато искушено в горну“. История—период временного, от грехопадения человека до второго пришествия господня на землю, „ослабленья Божьего“, временного торжества зла в мире, временной свободы человека, ибо не будь у человека права самоопределения в мире, не будь в мире зла—не было бы и истории. Исторический процесс—сумма чередующихся во времени исторических фактов; каждый факт, взятый в отдельности,—проявление доброй или злой воли человека; факты, взятые вместе, исторический процесс в целом—проявление божественной воли. Она, божественная воля, всемогущая и неисповедимая—первопричина и demiург исторического процесса. В конечном счете все в мире, по убеждению летописца, совершается только „по Божью устрою“, „по изволенью Божью“; даже проявляя свою злую волю, человек в сущности действует по плану, заранее предусмотренному промыслом божьим.

Такова летописная „философия истории“, как восстанавливается она на основе „философских“ фрагментов „Повести временных лет“

### III

Характер изложения исторических событий у летописца свидетельствует, что эти его „философские“ фрагменты—не механический привесок к повествованию: они, действительно, отражают его миропонимание.

Сообщая о том или ином событии, летописец, обычно простой констатацией его и ограничивался. Биография Ярополка Изяславича—далеко не един-

ственный пример такого способа изложения. В „Повести временных лет“ едва ли не каждый рассказ начинается именно так—с „голой“ регистрации факта: „Поча Олег воевати деревляны...“ (стр. 23); „Иде Олег на греки, Игоря оставив Киеве...“ (стр. 29); „Иде Володимер с вои на Корсунь, град гречьский...“ (стр. 106); „Постави Ярослав Лариона митрополитомъ русина в святей Софьи, собрав епископы“ (стр. 152); „Изяслав, Святослав и Всеволод высадиша стрья своего ис поруба...“ (стр. 158); „Бежа Олег, сын Святославль, Тмутороканю от Всеволода, месяца априля 10“ (стр. 193); „...пострижесе Святослав, сын Давыдов, внук Святославль, месяца февраля в 17 день“ (стр. 271) и т. п. Везде одно и то же: точное изложение события и ни слова в его пояснение.

Этот способ изложения находит свою параллель и в языке „Повести“, где наблюдаем почти полное отсутствие пояснительных союзов, выражающих причинные связи, и где чередование простых предложений, чаще всего связанных союзом „и“—основной закон синтаксической организации речи: „Приде Святослав в Переяславецъ, и затворишася болгаре в граде, и излезоша болгаре на сечю противу Святославу, и быть сеча велика, и одоляху болгаре...“ (стр. 68); „Ярослав иде в Киев, и погоре церкви“ (стр. 139); „...и прияша князь свой кыяне, и седе Изяслав на столе своемъ, месяца мая 2 день, и распуща ляхы на покорм, и избиваху ляхы отай...“ (стр. 169) и т. п.

Отступления от этого способа изложения только подтверждают правило; имею в виду те редкие у летописца случаи, где причина события внешне указывается: „...пусти [Игорь] дружину свою домови, с малом же дружины возвратися, желая больша именья“ (стр. 53); „Глеб же вборзе

всед на коне, с малою дружиною поиде, бе бо послушлив отцю“ (стр. 132); „Иде Святослав на Ростислава къ Тмутороканю, Ростислав же отступи кроме из града, не убоявся его, но не хотя противу стрьеви своему оружья взяти“ (стр. 159—160); „Святослав же бе начало выгнанию братню, желая болшее власти“ (стр. 177). С точки зрения историка-прагматика такое объяснение недопустимо: факт поясняется фактом, который сам нуждается в объяснении; здесь эти ссылки летописца на добрую или злую волю героя ничего не объясняют да и преследуют несомненно совсем иную цель: характерную для него морально-политическую оценку поведения героя:

Как правило, летописец обычно просто регистрировал события, факт за фактом, иногда сопровождая их регистрацию своей морально-политической оценкой, а когда они поражали его воображение своей грандиозностью и требовали объяснения—не простой ссылки на добрую или злую волю человека, он с молитвенным благоговением напоминал читателю, что все в этом мире происходит и происходит „по Божью строю“, „по изволению Божью“; дальше этого указания он не шел, ибо не дело человеческое испытывать судьбы божьи. „Велий Господь, и велья крепость его, и разуму его несть конца!“ (стр. 78)—формула эта (Пс. CXLVI, 5) осмысляла для него в конечном счете все: и прошлое и настоящее. В свете этой формулы все непонятное становилось для него понятным и полным смысла; между прошлым и настоящим протягивались невидимые смертному глазу нити; самое понятие о „видимой“ причинно-следственной взаимосвязи исторических событий в его сознании уступало свое место дру-

гому, неизмеримо более для него реальному, в котором и растворялось бесследно,—божественной воле, непостижимой и неисповедимой; формула эта примиряла его со многим и не раз служила источником его неизменного философско-исторического оптимизма.

Природа такого способа изложения ясна: перед нами ряд фактов, выпавших из своего реального, конкретного в каждом отдельном случае, причинно-следственного контекста,—перед нами одно из характерных проявлений его, летописца, до-п-р-а-г-м-а-т-и-ч-е-с-к-о-г-о исторического мышления.

Выпадение исторических событий в сознании летописца—и в его изложении—из реального причинно-следственного контекста привело и не могло не привести к тому, что основной категорией, в аспекте которой он мог и должен был рассматривать эти события, стало время. Прошлое и настоящее, с переносом его из „видимого“ причинно-следственного контекста в „невидимый“, в сознании летописца распалось на ряд фактов, никак не связанных между собою, „видимыми“ связями во всяком случае; время соединило эти разрозненные звенья в единую цепь.

„Погодный“ принцип изложения исторических событий для летописца, следовательно, отнюдь не случаен; он наглядно свидетельствует о природе его исторического мышления, свидетельствует о закономерной тенденции летописца внести известный порядок в поток подлежащих его обзору фактов, прикрепить каждый из этих фактов к определенной единице времени. Существующая в его время система летоисчисления (от сотворения мира) оказала ему в этом отношении незаменимую услугу: каждый факт нашел свое время, зыбкие до и после получили свои четкие границы. Пер-

вая летописная дата (852 г.)—случайна: поскольку события рассматривались им только во времени, он мог подчинить свое изложение существующей системе летоисчисления в любом месте, что он и сделал, воспользовавшись случайным упоминанием о „Руской земле“ в „летописаньи гречьстемь“ („Летописец вскоре“ патриарха Никифора).

Погодная канва изложения, которой летописец себя связал, потребовала от него соответствующей организации повествовательного материала: каждый факт должен был и в изложении летописца найти свое время.

Выполнить это требование можно было только при одном условии: стянуть к каждой единице времени все относящиеся к ней события, не считаясь с тем, нарушает или нет такая группировка материала единство того или иного повествовательного ряда. Это он систематически и делал: в историю одного князя стала вплетаться история другого; в историю Олега—история Игоря, в историю Ольги—история Святослава, и обратно, и т. п.; изложение стало перебиваться известиями, нередко никак с ним не связанными:

В лето 6449 (941)... Игорь же пришед нача совокупляти вое многи, и посла по варяги многи за море вабя е на греки, паки хотя поити на ня.

В лето 6450 (942). Семеон иде на хорваты, и побежен бысть хорваты, и умре, оставив Петра князя, сына своего, болгаром.

В лето 6451 (943). Паки придоша угри на Царьград, и мир створивше с Романом, возвратишася вьсвояси.

В лето 6452 (944). Игорь же совокупив вои многи, варяги, русь, и поляны, словени, и кривичи и тиверьце, и печенегии наа, и тали у них поя, поиде на греки в лодьях и на коних, хотя мьстити себе. Се слышавше корсунци, послаша к Роману, глаголюще: „Се идут Русь бецисла корабль, покрыли суть море корабли...“

В лето 6488 (980). Приде Володимир с варяги Ноугороду, и рече посадником Ярополчим: „Идете к брату моему и рцете ему: Володимер ти ить на тя, пристраивайся противу бится“. И седе в Новегороде. И посла к Рогволоду Полотьску, глаголя: „Хочю пояти дщерь твою себе жене“... И приде Володимер на Полотеск, и уби Рогволода и сына его два, и дщерь его поя жене. И поиде на Ярополка, и приде Володимер Киеву с войными, и не може Ярополк стати противу, и затворися Киеве с людьми своими...

Такая „мозаичная“ композиция повествования для летописца нормальна.

Когда летописец сталкивался с фактами, время которых совпадало, он иногда группировал материал вокруг того или иного года в строго определенном порядке, учитывая точную дату события, не только месяц, но и день. Решить как-либо иначе проблему „одновременности“ событий он, скованный погодным принципом изложения, не мог; отсюда параллелизм событий, но параллелизм самого примитивного типа, основанный на механическом чередовании событий во времени:

В лето 6617 (1109). Преставися Евпракси, дщи Всеволожа, месяца июля в 10 день, и положена бысть в Печерском монастыре у дверей, яже ко угу; и зделаша над нею божонку, идеже лежить тело ея. В то же лето, месяца декабря в 2 день, Дмитр Иворовичь взя веже половечские у Дону.

Группировка повествовательного материала вокруг определенного года иногда заставляла летописца дробить на части не только рассказ, но и отдельное предложение: переносить конец предложения на другой год, если этого требовало время.

...Весне же приспевши,  
в лето 6480 (972), поиде Святослав в пороги...

...И минувшю лету,  
в лето 6496 (988), иде Володимер с вой на Корсунь...

Или вторично повторять, под следующим годом, то же предложение, которым заканчивался у него рассказ под годом предшествующим:

В лето 6522 (1014) ... И рече Володимер: „требите путь и мостите мост“, хотяшетъ бо на Ярослава ити, на сына своего...

В лето 6523 (1015). Хотящю Володимеру ити на Ярослава; Ярослав же, послав за море, приведе варягы...

В лето 6523 (1015) ... слышав же се Святополк идуща Ярослава, пристрой бес числа вои, руси и печенег, и изыде противу ему к Любичю об он пол Днепра, а Ярослав об сю.

В лето 6524 (1016). Приде Ярослав на Святополка, и сташа противу об оба полы Днепра...

Положение летописца несколько осложнялось, когда он сталкивался с фактами, по самой своей природе не укладывающимися в рамки погодного повествования, — „длительными“; в этих случаях ему не оставалось ничего другого, как искусственно отнести их к той или иной единице времени; типичный пример такого приурочения — летописное известие под 6367 (859) г.: „Имаху дань варязи из заморья на чюди и на словенех, на меря и на всех [весех], и на кривичех; а козари имаху на полянех, и на северех и на вятичех, имаху по белой веверице от дыма“.

Интересно, что всякое нарушение погодного принципа изложения — редкие сравнительно у летописца случаи повествования не в свое время — обычно влекли за собою некоторую характерную порою для него шероховатость изложения; например, в начале известного его рассказа о смерти Олега:

В лето 6420 (912) ... И живяше Олег мир имае ко всем странам, княжа в Киеве. И приспе осень, и помяму Олег конь свой, и же бе поставил кормити и е

вседати на нь, бе бо въпрашал волхвов и кудесник: „От чего мнѣсть умрети?“ и рече ему кудесник один: „Княже! Конь, егоже любиши и ездиши на нем, от того ти умрети“. Олег же прием вуме, си рече: „Николиже всяду на нь, ни вижу его боле того“; и повеле кормити и не водити его к нему, и пребы неколико лет не виде его, дондеже на греку иде. И пришедшу ему к Киеву и пребывшю 4 лета, на пятое лето помяну конь, от негоже бяхуть рекли волсви умрети...

Погодный принцип повествования—за немногими исключениями летописец строго его придерживался—привел в результате к тому, что мир и без того дробный в сознании летописца в его изображении стал еще более дробным, еще более множественным; приурочение каждого факта к определенной единице времени вызвало новый, вторичный распад объективно единого мира на его составные элементы: форма оказала обратное влияние на содержание.

Прошлое в изображении летописца предстало перед читателем как простой ряд единичных фактов, монотонно отсчитываемых его погодным хронометром; каждый элемент этого ряда выделялся в самостоятельную и, в зависимости от занятого им места в тексте, более или менее замкнутую в себе единицу повествования, принял характерную для летописца форму фрагмента.

Нет никаких оснований усматривать в этом распаде повествования на ряд фрагментов след порчи первоначально сквозного текста: фрагментарность летописного повествования—его природа, оборотная сторона его, летописца, исторического мышления.

Погодный принцип композиции материала вывел на поверхность летописного повествования и ту

особенность его, которая теперь нам кажется в нем едва ли не самой „экзотичной“,—его глубокие порою внутренние противоречия. Принятый летописцем погодный способ изложения обнажает и природу этих противоречий и тайну их рождения; он свидетельствует, что фрагмент для летописца—не только нормальная для него единица повествования, но всегда, одновременно, и единица той морально-политической оценки, которой он обычно сопровождал свое изложение того или иного исторического события. Рассматривая прошлое как механический ряд единичных исторических фактов, чередующихся во времени, летописец шел и не мог не идти, оценивая этот ряд, по единственно возможному для него пути: от одного единичного факта к другому, от фрагмента к фрагменту; время—единственная активная категория его исторического сознания—исключало для него возможность охвата того или иного исторического события в целом—не по частям, возможность прагматического синтеза. Фрагмент для летописца—единица повествования, подлежащая оценке независимо от того ряда, из которого он, этот фрагмент, „изъят“,—оценке всегда, именно поэтому, одной и той же: или положительной—только, или отрицательной. Противоречие закономерно возникало каждый раз, когда фрагменты одного повествовательного ряда получали неодинаковую у летописца оценку: „зло“ в одном фрагменте повествования могло стать и не раз у летописца становилось „добром“ в другом фрагменте того же ряда,—но только в свое время, никогда не одновременно.

Фрагментарность и связанная с нею порою внутренняя противоречивость летописного повествования—особенности, определяющие собою всю структуру „Повести временных лет“ как

памятника литературы; они—ключ к пониманию и природы летописного человека.

Каждая оценка, морально-политическая, отдельных эпизодов (фрагментов) деятельности летописного героя, как правило,—всегда у летописца особая замкнутая в себе система показа. Герой приобретал у летописца свой „характер“, только попадая в такую систему; если все эпизоды (фрагменты) биографии героя получали у него одну и ту же оценку, положительную или отрицательную, герой обычно выдерживал свой „характер“ от начала до конца своей летописной биографии; если—неодинаковую оценку, положительную и отрицательную, герой свой „характер“ всегда видоизменял, т. е. из одной системы показа переключался в другую: злодей перевоплощался в святого, трус в героя и т. п.

Та или иная система показа, в которую попадали у летописца его герои в зависимости от оценки, всегда у него однолинейной, целиком обусловлена уже сформировавшейся в его время литературной традицией. Решающую роль в конкретном литературном оформлении летописного повествования сыграли две традиции: народно-эпическая (назовем ее так условно) и агиографическая. Обе эти традиции, в несколько ослабленной в сравнении с первоисточниками форме, и определили собою у летописца стилистический строй его повествования.

Народно-эпический план рассказа—система повествования, характерная своими, только ей присущими традиционными особенностями художественного изображения.

Отрицательный герой, попадая в этот план, обычно приобретал у летописца черты, сближающие его с эпическими великанами или чудови-

щами: „... выпустиша печенези мужь свой, бе бо превелик зело и страшен“ (стр. 121); „... нача изнемагати Мьстислав: бе бо велик и силен Редедя“ (стр. 143); положительный герой, попадая в этот план, неизменно у летописца приобретал „характер“ эпического богатыря.

Летописные биографии Олега и Святослава—биографии, единственные в „Повести“, последовательно выдержанные в эпическом плане.

Олег у летописца с легкостью, типичной для эпического героя, преодолевает все препятствия на своем пути; он без боя берет Смоленск, Любеч; хитростью овладевает Киевом; не встречая никакого сопротивления, побеждает древлян, северян и радимичей; идет походом на Царьград („бе числом кораблей 2000“, „а в корабли по 40 мужь“<sup>1</sup>): греки не оказывают ему никакого сопротивления; Олег запугивает их хитростью („повеле Олег воем своим колеса изделати и воставити на колеса корабля“) и заставляет их уплатить огромную дань („запевада Олег дати воем на 2000 корабль по 12 гривен на ключь“;<sup>2</sup> собираясь в обратный путь, приказывает сшить для руси „парусы паволочиты“); мудрый и „вещий“, он не пьет вина, отравленного греками; наконец, умирает, как и многие другие эпические герои, неожиданно, в расцвете сил, от „вещего“ прорицания—от укуса змеи.

Святослав у летописца—прежде всего воин („ходя воз по себе не возяше, ни котыля, ни мяс

---

<sup>1</sup> „Здесь число сорок явно обличает, в ряду других признаков, песенный склад рассказа“ (см.: Н. Костомаров. Предания первоначальной русской летописи. Исторические монографии и исследования, т. XIII, СПб., 1881, стр. 71).

<sup>2</sup> „Олег требует дани по двенадцать гривен на человека; число двенадцать—опять число символическое, обычное в песнях и сказках“ (см.: Н. Костомаров, там же, стр. 73).

варя, но потонку изрезав конину ли, зверину ли или говядину на углех испек ядыше, ни шатра ммяше, но подклад постлав и седло в головах; также и прочие вои его вси бяху. И посылаше к странам, глаголя: „Хочю на вы ити“...); он уже в детстве обнаруживает храбрость; он тоже с легкостью, типичной для эпического героя, побеждает, не встречая никакого сопротивления, вятичей, хозар, ясов, касогов, болгар („взя город 80 по Дунаеви“); узнав о том, что печенегы осадили Киев, он „взборзе“ садится на коня, неожиданно появляется в Киеве и прогоняет печенегов обратно в „поле“; он—гроза для греков („за малом бо бе не дошел Царяграда“); он с презрением отворачивается от „злата“ и „поволок“, но с радостью принимает в дар от греков „мечь и ино оружие“; наконец, гибнет так же, как и его народно-поэтический двойник—Ивась Вдовиченко (Конювченко), герой популярной украинской народной думы; смерть его, как и смерть Ивася,— кара за нарушение закона народно-эпической морали: он тоже матери не послушался, тоже пренебрег советом своего старого воеводы Свеналда, как и Ивась—советом полковника Хвилоненко.<sup>1</sup>

Перевод героя в эпический план часто у летописца сказывался и на самом рассказе его об этом герое; рассказ, или соответствующий его фрагмент, приобретал характерную новеллистическую структуру: сводился обычно к одному или нескольким эффектным эпизодам, показанным крупным планом; приобретал и некоторые другие черты народно-поэтического предания, композиционные и стилистические: ретардацию (герои

---

<sup>1</sup> См.: Д. Ревуцький. Українські думи та пісні історичні. Київ, 1919, стр. 145—155.

узнают не сразу то, о чем читателю или слушателю уже известно); торможение повествования; диалог—в функции завязки или развязки сюжетной „интриги“; характерные сказовые пояснения; иногда и традиционную формулу зачина: „И быша 3 браться...“ (стр. 8), „И бяста у него 2 мужа...“ (стр. 19), „Бе тогда царь...“ стр. 59; ср. стр. 82, 125); формулу завязки: герой ставит себе—прямая речь—задачу, содержание которой и раскрывается в рассказе (стр. 18, 38, 54, 65, 70).

Агиографический план рассказа—система повествования, характерная своими особенностями художественного изображения.

И отрицательные и положительные герои летописца, попадая в этот план, приобретают свойства, соответствующие обычно всем требованиям этого плана: отрицательный герой перевоплощается в характерного агиографического „злодея“; герой положительный—он часто противопоставляется отрицательному как его антитеза, как его наглядное отрицание—в „святого“. И святой и злодей в агиографическом плане повествования о них—люди особого художественного измерения; это прежде всего люди—не такие, как все; люди, для которых нормы поведения, обязательные для рядового человека, отнюдь не обязательны; люди, обращающие всеобщее внимание на себя „принципиальной“ алогичностью своих речей и поступков, всего своего поведения; люди, для которых те или иные моральные категории—добро или зло—страсть, до такой степени всепоглощающая, что, одержимые ею, они нередко у агиографа из людей с плотью и кровью перерастают в абстрактных носителей этих категорий, в „живую“ персонификацию „злодейства“ или „святости“ „добра“ и „зла“.

Борис и Глеб, Всеволод Ярославич и Мономах, Святополк Окаянный и Олег Святославич—князья, биографии которых подверглись у летописца более или менее последовательной, от начала до конца, агиографической стилизации.

Борис предстает перед нами уже с первых же строк своей летописной биографии в подчеркнуто агиографическом плане. Излагая его биографию, летописец не случайно ограничился подробным описанием только одного факта его недолгого жизненного пути—его мученической кончины. В изображении летописца Борис—прежде всего мученик—„страстотерпец“, жертва властолюбия своего старшего брата Святополка, „живая“ персонификация одного из тех морально-политических принципов летописца, которыми он дорожил в особенности,—покорности „младших“ князей „старшим“. Послушный и любящий сын, он, по повелению отца своего князя Владимира, отправляется в поход против печенегов; на обратном пути—слух о появлении в поле печенегов оказался ложным—он узнает, что отец его скончался и киевский стол захватил брат Святополк; горько оплакивая смерть отца, он остановился „на Лъте“. Дружина предлагает ему идти на Киев, но Борис отказывается: „Не буди мене възняти руки на брата своего старейшаго; аще и отець ми умре, то съми буди в отца место“ (морально-политическая сентенция); дружина, выслушав этот ответ, покидает Бориса, и он остается стоять „на Лъте“ один с „отроки своими“. <sup>1</sup> Святополк между тем заду-

<sup>1</sup> „Се стоянне на Альті, що потягло ся кілька день,... може мати тільки одно значінне—що він [Борис] не хотів капитулювати перед Святополком... Найбільш просте і натуральне объясненне було б,—що Борис, маючи військо в руках, не хотів мирити ся з князівством Святополка, як з довершенням

мывает убить Бориса; подосланные им убийцы, некто Путьша и другие „вышегородьци“, застают Бориса за пением заутрени: „бе бо ему весть уже [откуда—летописец не сообщает; очевидно, свыше], яко хотять погубити и“. Борис все время ведет себя алогично, противно человеческой природе, и это характерный признак агиографического стиля. При виде убийц Борис „начаети псалтырь“ (следуют соответствующие цитаты), затем—„канун“, а потом—„зря на икону, на образ Владычень“, начинает молиться: „Господи Исусе Христе!.. Примим страсть грех ради наших, тако и мене сподоби прияти страсть; се же не от противных приимаю, но от брата своего, и не створи ему, Господи, в семь греха“; он знает, что убийц подослал к нему Святополк но полон все прощения: закончив молитву, он покорно ложится („взлеже“) на постель свою („на одре своем“) в ожидании смерти: убийцы, „акы зверье дивии“, нападают на него и пронзают его копьями,—„и тако скончася блаженный Борис, венечь приим от Христа Бога с праведными...“ (стр. 129—131).

Аналогично Борису ведет себя у летописца и брат его Глеб. Святополк посылает Глебу „с лестью“ весть: „Поиди вборзе, отець тя зоветь, не сдравить бо велми“. Глеб немедленно садится на коня и с малой дружиной, не взирая на вещь предупреждение: „на поли потчесь конь, и наломи ему ногу мало“,—отправляется в путь. Ярослав сообщает ему о смерти отца и убийстве Бориса; „се слышав,—Ярослав успел предупредить брата, когда тот на пути в Киев стоял „на Смядине в

---

фактом, але й не відважив ся йти просто на Київ, (см.: М. Грушевський, там же, стр. 6).

насаде“,—Глеб възпи велми с слезами (эти сентиментальные „слезы“—одно из традиционных общих мест агиографической стилистики), плача по отци, паче же по брате, и нача молитися с слезами“; молитва (это целый лирический монолог, составленный по всем правилам житийного „плача“) обнажает агиографическую природу его, Глеба, летописного портрета: „...аще бо бых, брате мой, видел лице твое ангелское, умерл бых с тобою... молися о мне, да и аз бых ту же страсть приял; луче бы ми было с тобою умерети, неже в свете семь престелнемъ жити“. Подобно Борису, Глеб безропотно, не оказывая никакого сопротивления, позволяет себя зарезать наемному убийце (стр. 132—133).

Борису и Глебу в летописном рассказе о их „блаженной“ кончине противопоставлен „новый Авимелех“—властолюбец и братоубийца Святополк Окаянный, „характер“ которого тоже последовательно выдержан у летописца в агиографическом плане: трафаретного „злодея“ βίῳν τῶν μαρτυρῶν (житий святых-мучеников).

Летописные биографии Всеволода Ярославича и сына его Владимира Мономаха более „историчны“, но и они носят на себе следы последовательной агиографической стилизации.

Перевод Всеволода в агиографический план становится отчетливо заметным, начиная с 1078 г.,—когда Всеволод „сиде Кыеве на столе отца и брата своего, приим власть Русьскую всю“. Образ его с этого момента начинает окружаться у летописца ореолом эпитетов, полных типичной для агиографического стиля праздничной торжественности: „благоверный“, „благородный“, „державный“; приобретать именно те черты, которые скоро станут

традиционными для героев так называемых „княжеских житий“: мудрый строитель земли, он предупреждает нашествие половцев и заключает с ними мир (стр. 198); он—великодушен; он добровольно отдает Давиду Игоревичу Дорогобуж, несмотря на то, что Давид „зая грькы в Олешьи и зая у них именье“, т. е. едва не вызвал этим своим поступком серьезных политических осложнений с Империей (стр. 199); он предупреждает „мятеж“ Ярополка Изяславича (стр. 199); он—полон всепрощения: когда Ярополка убили его политические противники, он, не помня зла, устраивает в Киеве пышные похороны Ярополка (стр. 200); теплый ревнитель по вере, он проявляет заботу о церкви и ее служителях: при нем—в 1088—1089 гг.—торжественно освящается церковь св. Михаила Выдубицкого монастыря (стр. 201) и Печерская церковь св. Богородицы (стр. 201); при нем—в 1091 г.—происходит торжество перенесения мощей св. Феодосия Печерского (стр. 202—205); умирает он—13 апреля 1093 г.— „тихо“ и „кротко“, как и подобает „благоверному“ и „благочестивому“ князю. Из „жития“ положительного агиографического героя обычно устранялось все, что могло набросить на него малейшую тень. Летописная биография Всеволода следует и в этом отношении агиографическому литературному обряду: все „дурное“ в жизни Всеволода или совсем устранено или затушевано. „Приде Роман с половци к Воину,—читаем у летописца под 1079 г.,—Всеволод же ста у Переяславля, и створи мир с половци; и възвратися Роман с половци възпать и убиша и половци, месяца августа 2 день;... а Олга емше козаре поточиша и за море Цесарюграду. Всеволод же посади посадника Ратибора Тмуторокани“. Историки не сом-

неваются, что Роман был убит половцами не без ведома, а, может быть, и по прямому наущению Всеволода; не сомневаются, что Олег, другой племянник Всеволода, которого хозары „поточиша“, — тоже жертва дипломатии Всеволода.<sup>1</sup> У летописца, однако, нет и намека на это обстоятельство, не взирая на то, что о Романе в его, летописца, время уже несомненно успела сформироваться доброжелательная к нему эпическая традиция (Боян, по утверждению автора „Слова о полку Игореве“, цел славу „красному“ Роману Святославичу). Показательно в этом отношении сообщение летописца и под 1084 г.: „...В се же время выбегоста Ростиславича 2 от Ярополка [Изяславича], и пришедша прогнаста Ярополка, и посла Всеволод Володимера, сына своего, и выгна Ростиславича, и посади Ярополка Володимера“; летописец изображает это событие как восстановление порядка на Руси; что Ростиславичи (очевидно, Рюрик и Василько) в результате политики Всеволода остались без „отчины“, его ничуть не беспокоит. Тенденция всячески обелить Всеволода, снять с него хотя бы часть вины даже там, где совсем снять с Всеволода вину было невозможно, заметна в рассказе летописца о событиях и до 1078 г.; нарушение крестоцелования Всеславу Полоцкому произошло по инициативе Изяслава, — Всеволод принимал в этом деле только косвенное участие (см. стр. 163); инициатором изгнания Изяслава в 1073 г. из Киева (с точки зрения летописца, событие это — тяжчайшее преступление) был Святослав; Всеволод — жертва обмана: „Святослав же бе начало

---

<sup>1</sup> М. Грушевський, там же, стр. 72—73; В. В. Мавродии, там же, стр. 186—190.

выгнанию братню,... Всеволода бо прелсти, глаголя: Яко Изяслав сватится со Всеславом, мысля на наю; да аще его не вариве, имать нас прогнати; и тако взостри Всеволода на Изяслава“ (стр. 177—178). В конце своего жизненного пути, незадолго до смерти, Всеволод стал любить „смысл уных“, перестал слушаться „дружины своя первыя“; обстоятельство это— предмет искреннего огорчения летописца, но даже и тут он его оправдывает: старостью Всеволода и ее спутниками— недугами (стр. 209—210). Обширная „похвала“ Всеволоду, которую присоединил летописец к его „житию“ в конце: „Сий бо благоверный князь Всеволод бе издетьска боголюбив, любя правду, набдя убогыя...“ (стр. 208—210)—довершает его агиографическую характеристику.

Владимир Мономах во всем подобен своему отцу в изображении летописца. С первого же своего появления перед нами—биографию Мономаха летописец излагает, начиная ее фактически с 1076 г.,—Владимир попадает в план позествования, агиографическая тенденция которого, по мере приближения рассказа к концу, приобретает под пером летописца все более и более четкие стилистические очертания. Послушный и исполнительный сын, Мономах при жизни отца покорно выполняет все его, часто нелегкие, поручения, помогает отцу вернуть волость (стр. 194—195); умиряет „заратившихся“ торков (стр. 198), наводит „порядок“ на Вольты (стр. 198—199); после смерти отца, мудрый и справедливый,—добровольно уступает киевский стол двоюродному брату Святополку, „старшему“ в роде (стр. 210); всегда внимательно прислушивается к совету „смыслених“ (стр. 212; ср. стр. 220); для блага Русской земли жертвует своими личными интересами,—в 1094 г.

добровольно уступает Олегу Святославичу Чернигов, чтобы не подвергать волости напрасному разорению (стр. 218); добрый страж земли Русской,—наказывает нарушителей „порядка“ на Руси (стр. 222 и сл.), обороняет Русь от половцев (стр. 223—224, 263).

В 1093 г. Святополк, Владимир Мономах и брат его Ростислав потерпели жестокое поражение в битве с половцами (стр. 212—213); летописец сделал все, чтобы снять с Мономаха ответственность за это поражение: когда накануне битвы зашел спор,—переходить или не переходить Стугну реку,—Мономах вторично предложил Святополку и его „кыянам“ ввиду явного перевеса сил у половцев не вступать с ними в сражение, уладить дело миром; все „смыслении“ примкнули к мнению Мономаха, один Святополк и его неразумные „кыяне“ продолжали настаивать на своем—на переходе через Стугну и сражении. Ответственность за последствия похода летописец целиком переложил на плечи Святополка: Мономах (и брат его Ростислав, утонувший при обратной переправе через Стугну)—жертва необдуманного поступка „старшего“ в роде—киевского князя Святополка.

В 1100 г. коалиция князей на съезде „в Уветичах“ вынесла решение отобрать: у Давида Игоревича Владимир Волынский в наказание за то, что ослепил Василька Ростислагича („ввергл еси ножь в ны“), и Теробовль.. у Василька—волость, которую сами же князья незадолго перед тем, на съезде 1097 г., утвердили за ним как законную его „очину“. Решение это было принято при участии Мономаха,—следовательно, принято было с его согласия (в своем „Поучении“ Мономах говорит, что позже он протестовал против этого решения: „рех: аще вы ся и гневаете, не

могу... креста переступить\*); у летописца весь этот эпизод изложен так, словно Мономах и не было на съезде: ни одного упрека по его адресу, ни слова в его осуждение (стр. 264).

Агиографическая стилизация биографии Мономаха наиболее отчетливо выступает у летописца в его рассказе о совместном походе русских князей во главе с Мономахом и Святополком против половцев в 1111 г.; рассказ этот в стилистическом отношении — типичный фрагмент „княжеского жития“; он окончательно дорисовывает агиографический портрет Мономаха:

„Вложи Бог Володимеру в сердце, и нача глаголати брату своему Святополку, понужая его на поганья [инициатива похода целиком приписывается Мономаху]. . И оболочишася во броне, и полки изрядиша, и поидоша ко граду Шаруканю; и князь Володимер пристави попы своя, едучи пред полком, пети тропари и коньдаки хреста честнаго и кануи святой Богородици... месяца марта в 24 день, собращася половци, изрядиша половци полкы своя и поидоша к боеви. Князи же наша възложише надежу свою на Бога, и рекоша: „убо смерть нам zde, да станем крепко!“ и целоваша друг друга, възведше очи свои на небо, призываху Бога вышняго... И посла Господь Бог ангела в помощь Русьским князем,... и падаху половци пред полком Володимеровом, невидимо бьемы ангелом... Се бо ангел вложи в сердце Володимеру Монамаху пустити братью свою на иноплеменники... (см. Летопись по Ипатскому списку. СПб., 1871, стр. 191—193).

Владимир Мономах и отец его Всеволод Ярославич получили у летописца и свою традиционную агиографическую антитезу — в лице Олега Святославича; свидетельствует об этом резко отрицательная — по контрасту — и стилистическая характеристика этого князя у летописца.

Перевод героя в агиографический план обычно тоже накладывал свой след и на самый рассказ о нем. Структура его соответственно видоизменялась в сторону большего или меньшего приближения к „жизнию“: рассказ приобретал характерную форму повествования „от автора“, с отступлениями в сторону и комментариями автора; в композиционном отношении стал строиться по принципу „цепного“ чередования отдельных эпизодов, обрастать цитатами из Писания и специфической для этого жанра елейно-сентиментальной стилистикой, большое место уделять монологической речи (лирический „плач“ героя по тому или иному поводу—и у летописца наиболее употребительная форма монолога в этом плане повествования), завершаться в финале повествования традиционной „похвалой“ герою, в стилистическом отношении обычно последовательно выдержанной на основе той или иной риторической фигуры.

Народное историческое предание в легкой литературной, „книжной“ обработке летописца, „житие“, краткая погодная запись (аморфная в стилистическом отношении)—основные жанры летописного повествования на рассматриваемом этапе его истории („Повесть временных лет“).

А. А. Шахматов не допускал возможности „соединения в одном лице“ и „летописца“, и „автора агиологических статей“, и „сводчика“;<sup>1</sup> в принципе не вижу оснований для такого утверждения: полиморфность летописного повествования в жанровом отношении—его литературная природа; „сборный“ характер летописного повествования—прямой результат его исконной

---

<sup>1</sup> А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, стр. 470.

„фрагментарности“, которая несомненно и определила собою это органическое „соединение в одном лице“—в реально дошедшем до нас тексте „Повести“—и „летописца“, и „сводчика“, и „автора агиологических статей“.

Так называемая „воинская повесть“ (термином этим следует пользоваться условно—ввиду его неточности) к началу XII века еще не успела полностью сформироваться; четкие жанровые очертания „воинская повесть“ стала приобретать только в XII—XIII веках, под пером ближайших продолжателей „Повести временных лет“. Отпочковалась „воинская повесть“ от погодной записи; это—погодная запись, развернутая до повести, осложненная в стилистическом отношении элементами переводной исторической беллетристики—с одной стороны, агиографии—с другой. „Воинская повесть“ во многом существенно отличается и от летописного сказания (народного исторического предания в обработке летописца) и от летописного „жития“; она прежде всего многогеройна, т. е. содержит в себе рассказ о ряде лиц, биографические „интриги“ которых тесно переплетаются одна с другой; обычно до отказа перегружена фактами, откуда: характерная для нее сухость повествования, подчас обнажающая сюжетный остов рассказа; часто из „биографии“ перерастает в „рассказ о событии“, т. е. приобретает новое сюжетное качество; тяготеет к прагматизму, поэтому, правда, еще очень примитивно—как механическое объединение во временной последовательности в рамках одного повествовательного ряда всех эпизодов (фрагментов) этого ряда. Жанр этот, получивший такое широкое развитие в летописании уже XII—XIII веков, в „Повести временных лет“—еще в стадии своего зарожде-

ния;<sup>1</sup> впрочем, рассказ о распре Мстислава Владимировича с Олегом Святославичем (стр. 228—232) — знак, что летописец в этом направлении уже прокладывал для себя пути.

Биографии Олега, Святослава, Бориса и Глеба, Всеволода Ярославича, Мономаха, Олега Святославича — биографии, последовательно выдержанные у летописца, от начала до конца, в рамках одного и того же стилистического плана. Такая однотипность повествования для него, однако, отнюдь не была „нормой“; она никогда не исключала для него возможности и совсем иного способа повествования — перехода от одного плана к другому, даже в пределах одного и того же повествовательного ряда. Последний способ повествования — летописец прибегал к нему не менее часто — лишал героя повествования его единства: в результате перевода его из одной системы показа в другую он у летописца „расщеплялся“, — приобретал своего двойника. Эта способность летописного человека, в прямой зависимости от стилистического плана, в который переключался соответствующий фрагмент его биографии, время от времени „революционизироваться“, это „расщепление“ образа — черта, свидетельствующая не только о своеобразии, но и о глубоком архаизме летописного повествовательного стиля.

Летописные биографии Ольги, Владимира — крестителя Руси, Мстислава Тмутараканского показывают, что этому „расщеплению“ нередко подвергались под пером летописца даже те герои его повествования, все эпизоды (фрагменты) дея-

---

<sup>1</sup> Некоторые характерные для этого жанра поэтические формулы (поэтическая фразеология) в „Повести“ уже налицо; см.: А. С. Орлов. Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.). М., 1902.

тельности которых получали у него в основном однородную—в данном случае подчеркнута положительную—оценку.

И Ольга и Владимир у летописца подчас выпадают из агиографического плана, в который он их поместил (биографии Ольги и Владимира у летописца четко воспроизводят схему житий святых-язычников, просвещенных христианством); выпадают не только до своего окончательного агиографического „преображения“ (крещения), но—что в данном случае в особенности интересно—и после него.

Рассказ о том, как Ольга в самый патетический момент своей жизни, вскоре же после своего крещения в Царьграде, хитроумным ответом „переключала“ греческого царя (стр. 59—60; ср. стр. 61)—характерный пример такой стилистической „неустойчивости“ порою летописного повествования: эпическая Ольга—мудрая, вещая дева-воительница—здесь на время вытеснила „блаженную“ Ольгу ее летописного „жития“.

Иконописного Владимира—равноапостольного крестителя Руси, „нового Константина“—тоже вытеснял у летописца, и не раз, его двойник: былинный ласковый князь Владимир,—например, в рассказе о нашествии на Русь печенегов в 992 г. (стр. 119—121) и в рассказе о нашествии печенегов в 996 г. (стр. 122—123). И тут и там он выступает у летописца, уже после своего крещения, в типично былинной ситуации: в первом рассказе в критическую минуту не он, а его выручает некий юноша кожемяка (богатырь); во втором рассказе он так же пугается печенегов („подбег ста под мостом, одва укрыся противных“), как и его былинный двойник, когда напал на него Калин царь:

... И тут-то солнышко Владимир князь приужахнулся,  
Резвы ноженьки подломилися,  
Царски ручьки приопали об себя...

(Рыбников, <sup>2</sup> 11, 305)

... Князь Владимир порасплакался..

(Рыбников, <sup>2</sup> 1, 265)

Налицо это механическое, как всегда у летописца, совмещение на одной и той же плоскости героя и его стилистического двойника также в рассказе о единоборстве Мстислава Тмутараканского с „великаном“ Редедей (стр. 143); разница только в том, что здесь перед нами обратный случай: герой выпадает из батально-эпического плана в агиографический:

«... ставшема обема полкома противу собе, и рече Редедя к Мьстиславу: «что ради губиве дружину межн собою? но снидеве ся сама бороти; да аще одолешн ты, то возмешн именье мое, и жену мою, и дети мое, и землю мою; аще ли аз одолею, то възму все». И рече Мьстислав: «тако буди». И рече Редедя ко Мьстиславу: «не оружьемь ся бьеве, но борьбою». И яста ся бороти крепко, и надолзе борющемася има нача изнемагати Мьстислав: бе бо велик и силен Редедя; и рече Мьстислав: «о, пречистая Богородице! помози ми; аще бо одолею сему, съзижду церковь во имя твое». И се рек удари имь о землю [молитва Мстислава оказала свое немедленное действие: богородица вмешательством своим предрешила исход поединка в пользу Мстислава], и вынзе ножь, и зареза Редедю... И пришед Тмутороканю, заложи церковь святыя Богородица».

Когда эпизоды (фрагменты) деятельности героя получали у летописца не одинаковую оценку, одни — положительную, другие — отрицательную, „расщепление“ героя принимало под пером летописца в особенности бурный характер: герой и его двойник попадали в положение, исключавшее для

них всякую возможность „мирного“ сосуществования в пределах своего повествовательного ряда, так как основного условия такого сосуществования—единства оценки всех элементов этого ряда—уже не было; герой и его двойник стали—как всегда у летописца, выступая каждый в свое время, поочередно,—взаимно отрицать один другого. Глубокая внутренняя противоречивость, которую в результате такого „расщепления“ героя неизбежно приобретал рассказ летописца, его никогда не смущала.

Типичным примером такого „расщепления“ героя у летописца может служить один эпизод из его биографии Всеслава Полоцкого. В 1068 г.—рассказывает летописец—киевляне „высекоша“ Всеслава из „поруба“, в который посадил его год тому назад Изяслав Ярославич, обманом заманив его к себе в шатер „на Рши у Смолинська“, и сел Всеслав в Киеве. „Се же Бог яви силу крестную, понеже Изяслав целовав крест, и я и“ (Всеслава),—писал летописец и, чтобы подчеркнуть это обстоятельство, временно перевел Всеслава, „злодея“ по самой своей природе, в агиографический план: „В день бо Въздвиженья Всеслав вздохнув рече: „о кресте честный! понеже к тебе веровах, избави мя от рва сего“. И этот елейно-сентиментальный „вдох“ Всеслава и это его, неисправимого злодея, молитвенное обращение к „кресту честному“ здесь никак не мотивированы и, следовательно, свидетельствуют и могут свидетельствовать только об одном—о характерном для летописца насильственном переводе героя из одного плана повествования в другой, если это ему почему-либо необходимо. Всеслав здесь, в этом эпизоде своей биографии,—орудие божественного возмездия Изя-

славу, „живой“ урок князьям: „... да не преступают честнаго креста, целовавше его; аще ли преступит кто, то и zde примежь казнь [как принял ее Изяслав, которого киевляне в 1068 г. изгнали из Киева] и на придушемь веце казнь вечную“ (стр. 168). Когда Всеслав выполнил эту порученную ему дидактическую задачу, он выпал у летописца из агиографического плана: „святой“ обратно перевоплотился в „злодея“— легендарного князя-оборотня, политического авантюриста, „немиловостивого на кровьпролитье“.

Сюда же может быть отнесен и один эпизод из биографии другого летописного князя-„злодея“— Святослава Ярославича. В 1068 г. напали на Русь половцы. „Святослав же собрав дружины неколко,— рассказывает летописец,— изыде на ня ко Сновьску. И узреша половци идушь полк, построишася противу; и видев Святослав множество их, и рече дружине своей: „потягнем, уже нам не лзе камо ся дети“ и удариша в коне, и одоле Святослав в трех тысячах, а половець бе 12 тысяче, ... и възвратися с победою в град свой“ (стр. 167). Здесь— в этом фрагменте своей биографии— Святослав ведет себя как ведут себя у летописца только герои: он перед битвой ободряет дружину словами, полными воинственного пыла и бесстрашия; они напоминают обращение Святослава Игоревича к дружине, накануне битвы с греками, в 971 г.: „уже нам некамо ся дети, волею и неволею стати противу; да не посраммим земле Руские...“ (стр. 69); он смело идет в бой, не взирая на явный (эпический) перевес силы у врага (3000 против 12000), и, наконец, с характерной для героя легкостью, судя по точному смыслу летописного рассказа, одерживает над половцами победу. Не подлежит сомнению, что здесь лето-

писец временно перевел Святослава в эпический план повествования: жадный узурпатор, хвастающийся награбленным богатством, глубоко антипатичный летописцу, Святослав Ярославич здесь у летописца перевоплотился „на час“ в эпического героя, почти богатыря, чтобы затем вновь вернуться, когда порученная ему задача будет выполнена, как и Всеслав Полоцкий, к прежнему своему образу.

Герой мог „реинкарнировать“ у летописца и неоднократно, переходя из одного эпизода (фрагмента) своей биографии в другой. Ярослав (Мудрый) у летописца — типичный пример такого героя — „хамелеона“; его летописная биография — цепь сплошных „метаморфоз“.

Во весь свой рост Ярослав появляется у летописца впервые только под 1014—1015 гг. — в образе строптивного сына: он отказывается, сидя в Новгороде, платить урочную дань отцу; более того, готовится к вооруженному отпору („послав за море, приведе варягы“), когда узнает, что Владимир собирается идти на него походом (стр. 127); — не только строптивного сына, но и жестокого князя-обманщика: он сурово расправляется с новгородцами, осмелившимися восстать против его наемной варяжской дружины; приглашает виновников к себе и, „обльстив я“, приказывает их убить (стр. 137). Когда Ярослав узнает от сестры Предславы, что отец его скончался и что братья его Борис и Глеб убиты Святополком, летописец переводит его в подчеркнуто агиографический план повествования.

Наступает первое по счету его „реинкарнация“: строптивный сын и жестокий князь-обманщик становится орудием божественного возмездия Святополку-братоубийце. Весь образ Ярослава

просветляется: „Се слышав,—читаем у летописца,— печален бысть о отци, и о братьи, и о дружине [т. е. об им же убитых новгородцах]; завтра же собрав избыток новгородецъ, Ярослав рече: «о любя моя дружина, юже вчера избих, а ныне быша надобе!»; утерл слез [замечательны здесь эти его сентиментальные „слезы“], и рече им на вечи: «отець мой умерл, а Святополк седить Кыеве, избивая братью свою»“. Новгородцы оказались незлопамятными—в этом плане рассказа все возможно—и охотно соглашались заступиться за него, Ярослава: „Аще, княже, братья наша исечена суть, можем по тебе бороти“ (простодушные новгородцев здесь так велико, что даже обнажает стиль). В поход против Святополка Ярослав отправляется,—„нарек Бога, рек: «не я почых избивати братью, но он; да будеть отместник Бог крове братья моея, зане без вины проля кровь Борисову и Глебову праведную: еда и мне сице же створить? но суди ми, Господи, по правде, да скончается злоба грешнаго»“. Накануне битвы воевода Святополка смеется, издевается над новгородцами и Ярославом („Что придосте с хромьцемъ симь, а вы плотници суще,—а приставим вы хоромов рубити наших“), а Святополк с дружиною накануне битвы всю ночь пьянствуют, в то время как Ярослав, не торопясь, готовится к бою; здесь этот контраст—эффективная стилистическая подготовка развязки, которая и не замедлила: „...и одоле Ярослав, Святополк же бежа в Ляхи“ (стр. 137—139).

Факты не всегда позволяли летописцу последовательно выдержать образ в заданном плане; он не мог скрыть того, что Святополк, год спустя, вернулся в Киев с ляхами, что на Волыни у Буга имела место битва, в результате которой Ярослав

потерпел жестокое поражение, — „убежа с 4-ми мужи Новугороду“ и даже собирался было бежать и дальше, если бы его не остановили новгородцы („посадник Коснятин, сын Добрынь, с новгородьци расekoша лодье Ярославле, рекуще: «хочем ся и еще бити с Болеславом и с Святополкомъ»“). Факты требовали выключения Ярослава из агнографического плана повествования, и летописец это сделал; он повторил заключительный мотив предшествующего рассказа: воевода Ярослав на этот раз стал укорять противника и смеяться над ним накануне боя (стр. 139);<sup>1</sup> проступок этот, — а с точки зрения летописца это проступок („похвальба“), — немедленно повлек за собою кару: не Святополк с Болеславом, польским королем, потерпели поражение, а Ярослав. Рассказ о поражении Ярослава и о его попытке бежать даже „за море“, его трусости, получил у летописца — в данном случае — свою художественную мотивировку.

Когда Ярослав стал в 1018—1019 гг. готовиться ко вторичному походу против Святополка, летописец снова перевел его в агнографический план повествования: вчерашний неудачник и трус опять стал под пером летописца возвращать себе свой былой патетический облик. Решительная битва произошла на Альте, где был убит Борис (эта Альта здесь — не риторический ли эффект?). „Ярослав ста на месте, идеже убиша Бориса, възде в руце на небо, рече: «кровь брата моего вопьеть к тебе, Владыко! мьсти от крове праведнаго сего, якоже мьстил еси крове Авелевы, положив на Каине стенанье и трясенье; тако положи и на семь» [из дальнейшего повество-

<sup>1</sup> На параллелизм того и другого мотива, „звичайний в поетичнім обробленню подій“, указал в свое время уже акад. М. С. Грушевский (там же, стр. 12, прим. 2).

вания следует, что бог в точности исполнил эту просьбу Ярослава]. Помолився, рек: «брата моя! аще еста и теломъ отошла отсюда, но молитвою помозета ми на противнаго сего убийцю и гордаго». На этот раз Ярослав одержал над Святополком окончательную победу: Святополк позорно бежал с поля битвы и вскоре, после ряда странствий по чужим землям, „испроверже эле живот свой“, — „Ярослав же седе Киеве, утер пота с дружиною своею, показав победу и труд велик“ (стр. 140—142).

В третий и последний раз, на этот раз уже бесповоротно, перевел летописец Ярослава в агиографический план повествования из того „нейтрального“ в стилистическом отношении, аморфного сплава погодных известий, из которого он и раньше выводил его время от времени и в котором Ярослав опять у него оказался, когда завершил этот свой „труд велик“, — только под 1037 г. В 1036 г. в жизни Ярослава произошло важное событие: умер Мстислав Тмутараканский, соправитель Ярослава с 1026 г. по 1036 г., и Ярослав стал, наконец, „самовластець Русьстей земли“. Политического значения этого события летописец, горячий сторонник „самовластья“ на Руси киевского князя, не мог не оценить, что и нашло свое прямое отражение в его рассказе — полном агиографическом апофеозе Ярослава. Этот новый Ярослав — „самовластець Русьстей земли“ — уже не тот у летописца, что старый: былой неустойчивости его стилистического облика уже нет и следа; достойный преемник своего „равноапостольного“ отца, он продолжает его дело; украшает город, строит церкви, воздвигает в центре своей столицы великолепный храм св. Софии; заботится о книжном просвещении; во всем и всегда являя

собою пример образцового князя и христианина, он уделяет большое внимание не только „земле“, но и церкви, ее нуждам (при нем „нача вера хрестьяньска плодится и расширяется, и черноризьци почаша множитися, и монастыреве починаху быти“); наконец, умирает, в 1054 г., тихо и благолепно, успев незадолго до кончины „урядити“ сыновей—как истый патриарх своего рода и ревностный хранитель лучших традиций славного (до-феодального) прошлого Русской земли— в длинном монологе, полном благости и духовного умиротворения; монологом этим летописец воспользовался, чтобы вложить в уста Ярослава, в его предсмертное „завещание“, свои наиболее заветные политические убеждения и чаяния (стр. 157).

Этот новый Ярослав у летописца во многом существенно отрицает старого, даже несмотря на все агнографические „просветы“ его летописного портрета до 1037 г.

Герой мог у летописца, раз попав у него в тот или иной план повествования, приняв „новый“ для себя образ, в этом образе и остаться.

Биографии Изяслава Ярославича и сына его Святополка—типичные примеры такого построения летописного рассказа, где „двойник“ в конце концов, в ходе повествования, совсем вытесняет героя.

Свой очерк жизни и деятельности Изяслава Ярославича летописец начал с рассказа о том, как этот князь дважды—в 1067 и в 1069 гг.—вероломно нарушил данное им слово. В 1067 г. он, „целовавше крест честный“ Всеславу Полодскому, тут же обманул Всеслава: „преступивше крест“, приказал схватить Всеслава, когда тот прибыл к нему, и посадил в „доруб“; в 1069 г. он дал

киевлянам обещание не „губити“ города, т. е. не мстить им за то, что год тому назад они изгнали его из Киева, но обещания своего тоже не сдержал: когда 2 мая 1069 г. он вернулся в Киев в сопровождении польских дружин, он приказал 70 человек, участников восстания 1068 г., казнить; остальных ослепить и „погубить“ каким-то иным способом; „ляхов“ оставил в Киеве и распустил на „покорм“; „торг“ перевел на „гору“, поближе к себе (стр. 169); даже Печерский монастырь, принимавший какое-то косвенное участие в событиях 1068 г., поплатился: во всяком случае Антоний Печерский, опасаясь княжеского гнева, вынужден был ночью тайно покинуть обитель и бежать в Чернигов (стр. 188).

Этого Изяслава, вероломного и жестокого, уже под 1073 г. стал у летописца решительно вытеснять его агиографический двойник. В 1073 г. младшие Ярославичи, Святослав и Всеволод изгнали Изяслава из Киева. Святослав, „прогнав брата своего, преступив заповедь отню, паче же Божью“, сел в Киеве, Изяслав же опять, как и в 1068 г., бежал „в Ляхы“. Невинный изгнанник, жертва алчности и властолюбия своего родного брата—таков Изяслав в изображении летописца уже под 1073 г.; симпатии летописца целиком на стороне его, законного киевского князя, и он принял все меры к тому, чтобы нетронутым донести до читателя этот новый, уже агиографически слегка стилизованный, образ Изяслава: он не обмолвился и словом о том, что Изяслав, когда поляки, к которым он в первую очередь обратился за помощью, показали ему „путь от себе“, просил содействия у германского императора и даже у самого папы Григория VII, которому весной 1075 г. даже обещал в случае благопо-

лучного возвращения в Киев признать власть апостольского престола.<sup>1</sup>

В 1077 г., после смерти Святослава, Изяслав помирился с Всеволодом и снова сел в Киеве. Полное агиографическое „преображение“ Изяслава наступает у летописца под 1078 г., когда Олег Святославич и его союзник Борис Вячеславич с помощью половцев заняли Чернигов и Всеволод, который тогда сидел в Чернигове, пришел в Киев к брату просить защиты. Изяслав согласился: „Брате! Не тужи; видиши ли, колико ся мне сключи:—передает летописец его ответ Всеволоду,—первое, не выгнаша ли мене и именье мое разграбиша? и паки, кую вину вторую створил бех, не изгнан ли бех от ваю, брату своею? не блудил ли бех по чюжим землям, именья лишен, не створих зла ничтоже? и ныне, брате, не туживе; аще будеть нама причастье в Русской земли, то обема; аще лишена будеве, то оба; аз сложю главу свою за тя“ (стр. 194). Братья двинулись в поход против мятежников. На Нежатиной Ниве разыгралась „сеча зла“, в результате которой Борис был убит, а Олег „одва утече“, но был убит и Изяслав: слова его брату („аз сложю главу свою за тя“) оказались пророческими. В этом последнем акте свой жизненной драмы Изяслав уже ничем не напоминает Изяслава 1067—1069 гг.: речь его Всеволоду исполнена братской любви, покорного примирения с судьбою, всепрощения, самопожертвования; смерть его—подвиг; сам он—носитель божественного возмездия Олегу и Борису за зло, которое они принесли Русской земле. В этом агиографическом плане повествования

---

См.: М. Грушевський, стр. 63—65; Б. Д. Греков, стр. 291—292.

Изяславу отпускаются все грехи: смерть его в трактовке летописца не только подвиг самопожертвования, но и искупление. Обширная „похвала“, которую присоединил летописец к его „житию“ (стр. 196—197), окончательно дорисовывает его новый, иконописный образ князя-мученика (одна деталь в самом рассказе летописца тоже подчеркивает мученический характер его кончины: он был убит ударом копья в спину— „за плече“).

Этот новый, иконописный Изяслав здесь, на фоне предшествующего повествования, настолько резко отличается от старого—1067—1069 гг.,—что кажется: писали биографию Изяслава не один, а два автора; характерное для художественного метода летописца взаимоприятие героя и его двойника здесь уже доведено до своего предела, т. е. до приема, откровенно обнажающего морально-политическую тенденциозность летописного повествования.

Святополк Изяславич противоречивостью своей стилистической характеристики у летописца близко напоминает отца.

Когда половцы узнали, что Всеволод умер и на киевский стол, в 1093 г., сел Святополк,—так, начинает летописец свой рассказ об этом князе,—они отправили ему послов „о мире“. Но Святополк не стал с ними договариваться „о мире“; „нездумав с болшею дружиною отнею и стрья своего“, он приказал послов схватить и посадить в „истобку“. „Слышавше же се половци, почаша воевати“. Мужичи „смыслени“ стали советовать Святополку исправить ошибку, пока еще не поздно заключить мир с половцами, но Святополк, которого и тут поддержали „несмыслени“, мириться с ними не захотел, надеясь на свою силу. Тогда,

„смыслении“ стали советовать князю по крайней мере позвать на помощь Владимира (Мономаха); с этим Святополк согласился. Владимир прибыл в Киев, и здесь в Выдубицком монастыре состоялся совет. Вначале князья никак не могли договориться: „взяста межи собою распря и которы“. В спор, наконец, вмешались „смыслени“: „Почто вы распря имата межи собою? А погании губять землю Русьскую; последи ся уладита, а ныне поидита противу поганым любо с миром, люборатью“. Но и по половецкому вопросу князья не договорились: „Владимир хотяше мира, Святополк же хотяше рати“. Верх одержало мнение Святополка; он наотрез отказался под нажимом своих „немыслених“ советчиков, мириться с половцами (эти „несмыслени“ советчики здесь у летописца подчеркивают его отрицательную характеристику Святополка). Князья двинулись в поход. У реки Стугны спор возобновился: „...глаголаше Володимер: «Яко сде стояще черес реку в грозе сей, створим мир с ними» [т. е. с половцами], и пристояху совету сему смыслении мужи...» Кияне же [т. е. Святополк и его дружина] не всхотеша совета сего, но рекоша: «Хочем ся бити; поступим на ону сторону реки». И възлюбиша съвет съ...“ [т. е. Святополк и на этот раз примкнул к мнению „несмыслених“]. „Брань люта“, которая завязалась, как только князья перешли Стугну и вплотную столкнулись с половцами, окончилась не в пользу русских князей; они потерпели жестокое поражение и едва спаслись бегством: Владимир вернулся в Чернигов, брат его Ростислав—при обратном переходе через Стугну, „бе бо наводнилася велми тогда“ (дело было весною),—утонул, Святополк, главный виновник всего происшедшего, „затворися“

сперва в Треполе, а потом в Киеве, „половци же видевше сдoleвшe, пустишася по земли воююще...“ (стр. 210—213).

Таков Святополк в зеркале своей летописной биографии вплоть до 1107 г. Не успел он в 1093 г., после смерти Всеволода Ярославича, сесть в Киеве, как едва не погубил земли Русской своей опрометчивостью и упрямством; в 1097 г. он принял косвенное участие в ослеплении Василька Ростиславича и, когда дело получило широкую огласку, всю ответственность за это преступление спокойно переложил на плечи соучастника своего в преступлении—Давида Игоревича; не только во всем обвинил одного Давида, но и пошел на него походом и в „наказание“ отобрал у него „отчину“—Владимир Волынский...<sup>1</sup>

В 1107 г. этого Святополка, как и его отца в 1078 г., полностью заменил его агиографический двойник.

Успешные походы Святополка, совместно с Владимиром Мономахом, против половцев в 1095 г. (стр. 221), в 1096 г. (стр. 224), походы в 1101 г. (стр. 265), в 1103 г. (стр. 267—269), в 1106 г. (стр. 270) уже вызывали со стороны летописца сочувствие к нему и до 1107 г.; окончательно примирила с ним летописца победа, которую он, совместно с другими князьями, одержал над половцами в этом году у Лубна, что тотчас же и нашло свое отражение в летописном рассказе: „... Святополк же приде [после одержанной над половцами победы] в Печерський монастирь на заутреню на Успенье святыя Богородица, и братья целоваша и с радостью великою, глаголюще, яко

<sup>1</sup> См. рассказ попа Василия в дошедшем до нас тексте „Повести“ (стр. 247—263)—рассказ, который мог попасть в состав „Повести“ и по инициативе ее автора.

врази наша побежени быша, молитвами святых Богородица и святого отца нашего Феодосья;— так бо обычай имяше Святополк: коли идяше на войну, или инамо, толи поклонився у гроба Феодосиева и молитву взем у игумена, ту сущаго, таже идяше на путь свой“ (стр. 272). Это— „обычай“ уже не рядового князя: так ведут себя у летописца только „благоверные“ князья.

Начиная с 1107 г. и до своей кончины, последовавшей 16 апреля 1113 г., Святополк уже ничем не нарушает установленного для него летописцем стилистического порядка: в 1108 г. он кладет основание церкви св. Михаила Золотоверхой; с радостью („рад быв“) принимает предложение игумена Печерского Феоктиста вписать Феодосия Печерского в „сенаник“ и приказывает митрополиту сделать это (стр. 272—273); в 1111 г. он принимает участие, совместно с Владимиром Мономахом и другими князьями, в той самой битве на реке Сальнице, участие в которой наряду с людьми принимали и ангелы, посланные богом в помощь русским князьям против половцев (см.: Летопись по Ипатскому списку. СПб., 1871, стр. 192—193); в 1112 г. он „с радостью“ повелевает митрополиту поставить в Печерский монастырь нового игумена (там же, стр. 197); наконец, умирает, самим богом за месяц предупрежденный о своей кончине: 19 марта 1113 г. „проявило“ ее солнечное затмение (там же, стр. 197—198).

Агиографический план повествования—план наиболее „цепкий“; переключаясь в этот план с его прочно устоявшимися нормами, с его традиционной стилистикой, летописный герой иногда попадал в своеобразный стилистический плен, высвободиться из которого ему не удавалось даже

в том случае, когда того требовала сама логика рассказа: данная герою морально-политическая оценка, несовместимая с этим планом повествования.

Рассказ летописца о смерти Ярополка Святославича—типичный пример такой деформации содержания под давлением стиля.

В 975 г. Лют Свеналдич, сын дружинника (воеводы) Ярополка Святославича—Свеналда, на охоте в погоне за зверем забрел во владения брата своего князя—Олега Святославича, за что и поплатился: Олег, который тогда тоже охотился, убил его. Свеналд, „хотя отомстити сыну своему“, стал советовать Ярополку пойти на Олега и отобрать у него волость („Деревьску землю“). Ярополк послушался „злого“ совета: в 977 г. пошел на брата и одержал над ним победу; Олег с поля битвы бежал, надеясь укрыться в городе Вручем, но по пути туда погиб: в сутолоке свалился в „дебрь“ и разбился на смерть. Когда тело Олега нашли и на ковре вынесли к Ярополку, тот прослезился („плакася“) и с упреком сказал Свеналду: „Вижь, сего ты еси хотел!“... Раскаяние, однако, не спасло Ярополка от сурового возмездия: в 980 г. он был убит—по негласному приказу родного брата (Владимира). Рассказ о смерти Ярополка следует у летописца непосредственно вслед за рассказом о его преступлении в 977 г. (годы 978—979—„пустые“)—знак, что оба эти события он ставил в прямую связь между собою, усматривая в гибели Ярополка карающую руку промысла божьего: первая в истории Киевского государства княжеская усобица не могла остаться безнаказанной.

„Аномалия“ летописного рассказа о смерти Ярополка Святославича заключается, однако, не в

том, что Ярополк тоже гибнет у летописца и тоже—косвенно от руки родного брата (эта симметрия здесь могла быть и случайной, могла соответствовать реальному ходу событий), а в том, что Ярополк гибнет у летописца не так, как мы вправе были бы этого ожидать, судя по тяжести его злодеяния, по замыслу (морально-политическому) летописного рассказа.

Известно, как жестоко покарал летописец Святополка Окаянного за аналогичный грех—за усобицу и братоубийство: напал на него бес, и „раслабеша“ все кости его так, что он не мог сесть на коня, и побежал он с поля битвы, преследуемый призраками, гонимый гневом божьим с места на место, пока, наконец, отроки, которые несли его на носилках, немощного и потерявшего разум, не добежали до некоей пустыни „между Ляхы и Чехы“, где он и „испроверже зле живот свой“; даже от могилы его долгое время исходил „смад зол“—„на наказанье князем Русьским“ (стр. 141—142).

„Аномалия“ летописного рассказа о смерти Ярополка заключается в том, что Ярополка за грех его постигла не „казнь“, а награда: он, первый из Руси бросивший в братию свою „ножь“ раздора, гибнет у летописца не как герой отрицательный, а как положительный, не как „злодей“, а как „мученик-страстотерпец“— в соответствующем географическом плане повествования. Он гибнет от руки „невеголоса“ брата; он—жертва злодейского заговора, инициатором которого был его же собственный воевода Блуд. Как и все „мученики“, он покорно идет навстречу смерти: три раза предатель Блуд коварно („льстя под ним“) обманывает его, и три раза он, не замечая обмана, доверчиво следует его, Блуда, указаниям; некий „Варяжько“,

когда он уже направлялся в „двор теремный отень“, где поджидали его наемные убийцы, предупреждает его об опасности (предупреждение героя о грозящей ему беде—деталь, характерная для „житий“ князей-мучеников): „Не ходи, княже, убьютъ тя...“,—но и тут он, не взирая на это прямое предупреждение, добровольно продолжает путь, чтобы умереть, как агнец, от меча убийц. одинокий и беззащитный (стр. 75—76).

Объясняется этот неожиданный поворот в летописной судьбе Ярополка, это его агиографическое, вопреки логике рассказа, „преображение“ тем, что Ярополк у летописца здесь, в заключительном эпизоде (фрагменте) своей биографии, попал в другой повествовательный ряд—другого князя, в летописное „житие“ Владимира. Этот новый повествовательный ряд в корне видоизменил образ Ярополка и не мог не видоизменить, ибо здесь рассказ летописца преследовал уже совсем иные цели и по содержанию и в стилистическом отношении. Летописное „житие“ Владимира довольно близко воспроизводит схему „житий“ святых-язычников, просвещенных христианством: „жития“ этого типа обычно требовали резкого контрастного противопоставления героя-язычника тому же герою, но уже—христианину, отрекшемуся навсегда от прежнего своего образа жизни и полностью обновленному евангельской благодатью. Летописный Владимир обрисован в строгом соответствии с этим правилом, что нашло отражение даже в его, летописца, прямой характеристике Владимира—антитезе: „Мудр же бе, а наконець вогибе [Соломон]; се же бе невеголос, а наконець обрете спасенье“ (стр. 78).

Владимир „невеголос“—жесток, коварен, распутен; отрицательные черты его характера в

первых эпизодах его „жития“ даже подчеркнуты у летописца в расчете на контраст. Почти все эпизодические персонажи, оттеняющие здесь его образ „невеголоса“, т. е. язычника, еще не осененного светом благодати,—жертвы его жестокости, коварства или распутства. Ярополк, под 980 г. попав в повествовательный ряд Владимира, естественно разделил судьбу своих ближайших соседей по рассказу: убитого Владимиром в том же 980 г. Рогволода Полоцкого; дочери его Рогнеды, обещанной Владимиром; варягов-христиан, отца и сына, убитых в 983 г. киевлянами не без ведома Владимира.

Отсюда и „мученический“ характер его кончины, его агиографическое „преображение“.

Противоречия в образе того или иного героя летописного повествования, очень возможно, отражают реальные противоречия его характера,—возможность такая во всяком случае не исключена;—но отражают частично, в пределах, доступных для его, летописца, художественного метода; литературный портрет реального человека—завоевание литературы нового времени; для средневекового писателя начала XII века такой портрет—задача еще явно непосильная. Человек у летописца всегда однолинеен, т. е. одновременно быть и „добрым“ и „злым“ не может; всегда статичен, несмотря на внешнюю свою подвижность, т. е. „характер“ свой приобретает в прямой зависимости от того или иного заданного стилистического плана повествования, отражая все его перебои; почти всегда репрезентативен, т. е. обычно является „живым“ носителем той или иной летописца морально-политической сентенции или доктрины.

Как видим, художественные „загадки“ летописного повествования носят характер внутренне-закономерной системы и, следовательно, могут и должны рассматриваться как исконное свойство „Повести временных лет“, как прямое отражение своеобразной „неэвклидовой геометрии“ его, летописца, не только исторического, но и художественного мышления,—его стиля.

Стиль этот в древне-русской литературе имел свою многовековую историю. В силу особых обстоятельств исторического развития древне-русской литературы он дожил до XVII века, когда под напором новых исторических факторов стал распадаться и, в конце концов, был и совсем отодвинут в сторону новыми системами художественного изображения.

Не подлежит сомнению, что рецидивы этого стиля—в виде модификаций или рудиментов—можно проследить и в литературе нового времени, ибо в искусстве ничто не исчезает бесследно. Но это—проблема, уже далеко выходящая за пределы настоящего очерка.



Ответственный редактор проф. П. Н. Берков

Подписано к печати 9-X-1916 г. Печ. л. 27/8. Уч.-изд. л. 3,7.  
Заказ № 526. М-07253. Тираж 10 000 экз.

Типография ЛГУ. Ленинград, Университетская наб., 7/9.

**Цена 4 руб.**